ВИКТОР СВЕН

БУНТ НА КОРАБЛЕ



Виктор СВЕН

БУНТ
НА КОРАБЛЕ

Товарищество Зарубежных Писателей

Мюнхен 1961

Copyright by the author
Alle Rechte vorbehalten

Склад издания:
Г. Андреев, ЦОПЭ-Бюро, Мюнхен 19, Ренаташтр. 77

Satz und Druck: Georg Butow, München 5, Kohlstraße 3 b, Tel. 29 51 36.

Бунт на корабле

От автора

Автор серьезно убежден, что описываемые здесь события развернулись бы несколько иначе, если бы в один июньский день капитан полярного корабля «Полюс» не записал в состав своей команды этого сомнительного боцмана.

Но оплошность была допущена: боцман попал на «Полюс». Значение этого промаха капитан понял очень скоро. Сколько раз, готовясь к отплытию в неизведанную область льдов, он мрачно рассматривал громадную карту и с поздним сожалением качал головой.

У него даже возникала мысль просто-напросто выгнать боцмана. Но и этого он уже не мог сделать: боцман был посвящен в планы и знал все тайны маршрута. Человек богатого житейского опыта, капитан понимал, что этот бездельник-боцман будет мстить, и тогда все, созданное таким трудом, рухнет, и мечты об экспедиции придется похоронить.

Конечно, боцман способен на все. Что он темная личность и скандалист, об этом правдиво свидетельствовали синяки и ссадины, вечно украшавшие локти и коленки его ног. А свежий синяк у левого глаза? А эти пухлые щеки и хитро улыбающиеся яркорозовые губы?

Выход у капитана был только один: преодолеть все препят-

ствия, подчинить своей воле команду, безбоязненно устремиться вперед и достичь цели...

Это был единственно правильный выход. И капитан без оглядки, с полной верой в себя, пошел по этому тяжелому, но удивительно светлому пути своей мечты...

1

Было бы ошибкой смотреть на этого девятилетнего мальчика просто как на Юрку. Ошибкой и оскорблением. Потому что Юрки уже давно не было. Вместо него в нашу повесть решительно вошел смуглый, крепкий и знаменитый путешественник, охотник, следопыт, прославленный капитан и обладатель настоящего одноствольного ружья 32 калибра.

Самым потрясающим в биографии бесстрашного капитана было, понятно, ружье и его небывалый калибр. 32! Это не шутка! К тому же Юрка точно знал, что у его отца ружье шестнадцатого калибра, а у охотника Викстера (которому Юрка в душе совсем чуть-чуть завидовал) калибр вообще ерундовский, какой-то там двенадцатый.

С таким ружьем нигде не пропадешь. Этому все верили. Неприятное исключение составлял только юркин брат, Томка. Тряся своими пухлыми щеками, он осмеливался выражать сомнение:

— А поцэму оно такое маленькое?

— Как маленькое? Его нарочно уменьшили, чтобы калибр получился больше...

Но безмозглый скептик не сдавался:

— А поцэму...

— Поцэму, поцэму? — передразнивал Юрка. — Ты все равно не поймешь!

— Поцэму? — с недоверием и обидой спрашивал Томка.

— Потому... — Юрка пренебрежительно махал рукой и отворачивался. — Потому что ты в огнестрельном оружии не разбираешься... Ты еще маленький...

Стрела намека попадала в самое сердце! Томка не перено-

сил вечного, позорного упрека, что ему только пять лет с хвостиком. Самое горькое заключалось именно в этом хвостике, противно напоминающем фокстерьера Чарли, у которого черный обрубок хвоста шевелился, как томкин палец в зимней варежке. Чтобы поскорее прогнать неприятную мысль о Чарли, Томка басом сказал:

— Я все понимаю ... только поцэму-то в калибрах нет ...

— Ну, — покровительственно объяснял Юрка. — Это же так просто. Что больше: 32 или 12?

Томка математическими выкладками не интересовался, вполне резонно думая, что самые сложные коммерческие операции можно ограничить знанием счета в пределах числа пальцев на двух руках. Но представление о каких-то более сложных вычислениях уже копошилось в его подсознании и заставляло быть осторожным в тех случаях, когда требовалось выйти за границы таких понятных и уютных десяти. И теперь, боясь подвоха, Томка слегка засопел и решил ограничиться вопросом:

— А тебе зацэм?

Чтобы переманить Томку на свою сторону, Юрка важно произнес:

— Понимаешь ... я с тобой говорю, как со взрослым ...

Это понравилось Томке. Он сразу почувствовал себя взрослым: слова Юрки зачеркивали пять лет с хвостиком. Но осторожный человек и вечный скептик, Томка и на этот раз решил выждать, как будут развиваться события.

— Слушай: 32 почти в три раза больше, чем 12 ... Понял?

Не желая раскрывать свои карты, Томка применил дипломатическое «ну», которое можно было толковать по-разному.

— Так вот, — с гордостью объяснял Юрка, — если дядя Викстер из своего двенадцатого калибра убил медведя, то из тридцать второго можно свободно убить слона ... Понял?

Довод своей непреложной логикой мог рассеять любые сомнения. Но тут был Томка, человек себе на уме, он обладал способностью своими внешне наивными и глупыми вопросами разрушать вполне обоснованные положения.

— А поцэму слона? Ведь дядя Викстер убил медведя? А поцэму ...

Юрке захотелось треснуть своему брату по башке. Но он воздержался, во-первых, потому что невдалеке находилась

мама, всегда, неизвестно из каких соображений, становящаяся на сторону Томки, а во-вторых, и это самое главное, потому что Томка своими сплетнями мог испортить репутацию ружья.

— Ну, ладно, — примирительно сказал Юрка. — 32 в два с половиной раза больше 12... Так?

Хитрый Томка опять ловко отделался «ну»...

— Нет, ты скажи: так?

Томка не сдавался и надул щеки. Так он поступал, когда у него зарождалась какая-либо сложная комбинация.

— Нет, ты скажи: так?

Комбинация оформилась. Томкины щеки опали и он сказал:

— А дашь покатать цорный мяцык?

Эта торговля принимала обидный для Юрки характер. Он даже отвернулся и хотел уйти, но, вспомнив о ружье, посмотрел на Томку, подумал, и сказал:

— Дам... А скажи: так?

Из-за черного мячика стоило рискнуть. К тому же черный мячик можно было спрятать в траву и сказать, что он потерялся. А потом найти и играть еще целый день.

— Так... — недоверчиво протянул Томка.

— Ну вот видишь! — обрадовался Юрка. — Если тридцать второй калибр больше двенадцати в два с половиной раза, и если дядя Викстер из своего двенадцатого убил медведя, то я из тридцать второго могу убить два с половиной медведя. Понял?

Нарисованная картина была настолько убедительна, что Томка почти честно ответил:

— Понял...

И только позже, завладев мячом, сомнение вновь начало тревожить Томку. Предварительно спрятав черный мячик, он разыскал брата и спросил:

— Поцэму бывает половина медведя?

— Какая половина? — растерялся Юрка.

— А та, которую можно убить из твоего калибра...

2

Как бы там ни было, но даже скептик Томка в душе признал, что Юрка человек не обыкновенный. И ружье у него за-

мечательное. Наконец, дело дошло до того, что Томка, незаметно для себя подчинился воле брата и за него готов был подраться с любым. К тому же у Юрки обнаружилась настоящая борода.

— Поцэму борода? — начал было сомневающийся Томка, но Юрка раскрыл книжку и показал великих путешественников Севера: все они были бородатыми.

— И у меня борода...

Это чрезвычайно заинтересовало Томку. К своему удивлению, он и на самом деле увидел, что у Юрки действительно растет какой-то пух. Правда, был он золотистый и очень напоминал цыпленка, но все же... тут Томка в испуге развел руками и тревожно спросил:

— Цто ты теперь будешь делать? А вдруг мама узнает?

— Не узнает, — снисходительно улыбнулся Юрка. — Но ты должен молчать... И свято хранить тайну...

Торжественность момента немедленно оценил Томка. Причастие к тайне как бы снимало позорное прошлое с пятью годами с хвостиком. Теперь об этом никто не посмеет заикнуться, и, чтобы окончательно отрезать пути к обидным намекам, Томка важно произнес:

— Да... как настоящий мужцына...

Собственно, в эту минуту и была допущена та ошибка, последствия которой бросили тень на всю последующую жизнь Юрки. Ошибка заключалась в том, что Юрка поддался обаянию слов Томки: «как настоящий мужчина» и легкомысленно открыл ему много тайн.

Прежде всего, Юрка сознался, что он не Юрка, а известный, прославленный путешественник, исследователь полярных льдов, знаменитый охотник, обладатель ружья такого калибра, перед которым все эти хваленые «винчестеры» и гроша ломаного не стоят.

Томка выслушал признание хладнокровно. Он даже не вздрогнул, как будто бы давно уже подозревал кое-что. Это мужественное самообладание обрадовало Юрку и он покровительственно похлопал брата по плечу.

— Из тебя тоже может выйти следопыт...

Будущий следопыт внимательно посмотрел в глаза Юрке, что-то быстро сообразил, моментально надул щеки и сказал:

— Знацыт, цорный мяцык навсегдашний мой?

Слова эти потрясли Юрку, открыв перед ним глубину коварства. Узнать чужие секреты и потом требовать такой замечательный черный мячик? Это надо было предвидеть раньше. Сейчас — поздно. Спорить и ссориться нельзя.

— Да... Но ты дай слово, что никому не признаешься, что я не Юрка...

Томка и здесь оказался настоящим мужчиной. Он дал слово твердо хранить тайну. На всякий случай Юрка его припугнул, что при малейшем намеке на предательство черный мячик будет отобран. Услышав об этом, Томка тут же спрятал мячик в карман, в душе решив, подальше от греха, хранить его не в комнате, а в беседке.

Шли дни, и никто в доме не знал, что за стол садится знаменитый путешественник, что спать укладывается полярный исследователь и что за книжкой размышляет великий охотник. Только одному Томке было все известно. Но страх лишиться замечательного мячика крепко связывал болтливый язык.

Правда, был однажды случай, когда он чуть-чуть не проговорился. С ужасом наблюдая, как папа непочтительно кричит на Юрку, Томка представил себе жуткую картину: великий следопыт сжимает суровые брови, хватает свои калибры и... Томка закрыл глаза и прижался к отцу, чтобы своим телом защитить его, предупредить, что Юрки здесь давно нет, что тут, перед ними, грозный завоеватель Севера. Признание готово было вырваться, но Томка заметил повелевающий взгляд Юрки. Значение этого взгляда было понятно: так мог смотреть капитан, требуя безмолвного подчинения.

3

Потому ли, что Юрке одному было трудно справиться с подготовкой к такой сложной экспедиции, или, может быть, его широкая натура требовала дружбы, но Юрка все больше и больше доверялся и, наконец, открылся перед Томкой во всем своем величии.

Эта географическая карта занимала почти весь стол. И Юрка показал пораженному Томке: вот здесь Припять, тут наш дом, а вверху, чуть наискосок, Северный полюс, мечта человечества.

Мечта человечества была не совсем понятна, но так как Юрка собирался туда перебраться, у Томки немедленно возникли очень сложные замыслы.

Рассматривая таинственную карту, Томка засопел. Хитрец, он даже слегка надул щеки, но сразу не мог решить, какую выгоду можно извлечь из переселения Юрки на Полюс. Вихрь мыслей мешал сосредоточиться. Комбинации, одна ярче другой, вспыхивали и гасли и, наконец, уступили невиданной красоте совершенно нового крокета. Томка с облегчением вздохнул, поняв, что среди грозных льдов Севера Юрке этот крокет не только не нужен, но и будет мешать.

— Это только на карте близко, — объяснял Юрка. — А ехать придется дней... пять или больше...

— Всего? — с сожалением протянул Томка, но тут же с надеждой спросил: — А ты назад не вернешься?

И вот здесь Юрка сознался, что ему страшно нужен боцман, человек опытный, твердый, честный, на которого можно положиться и доверить присмотр за кораблем. Признавшись в этом, он предложил Томке должность боцмана. Зная характер Томки, Юрка в награду за службу сразу же дарил ему половину Северного полюса.

Предложение было заманчивое. Любой немедленно согласился бы. Но опытный Томка, весьма обрадованный перспективой без труда заграбастать половину Северного полюса, ловко использовал безвыходное положение капитана.

— Половину Полюсного севера и новый крокет...

— Зачем тебе крокет, раз ты боцман? — с возмущением сказал Юрка. — Хватит с тебя и Полюса...

— Не хватит... — и чтобы окончательно убедить капитана, Томка сфантазировал: — Я видел боцмана с крокетом...

Пойти на такую громадную жертву Юрка не мог и предложил вариант компенсации: половина Северного полюса и коньки. Томка мрачно сопел. Когда Юрка добавил перочинный ножик в футлярчике, соглашение было заключено.

Томка довольно пыхтел: за всю его жизнь это была первая во всех отношениях выгодная сделка, принесшая сразу и коньки и ножик в замечательном сафьянном футляре. Половину Северного полюса Томка считал приобретением незначительным, так, вроде упаковки к вещам.

Приятно было и звание боцмана, сразу поставившее Томку в категорию людей, известных всему миру и крайне необходимых человечеству.

Сознание, что без него вообще нельзя не только делить Северный полюс, но даже и найти его, вскружило голову и испортило характер Томки. Он видел, что Юрка трудится, делает какие-то запасы, точит столовый нож, собирает веревки, но сам палец о палец не ударил, чтобы помочь ему в этом. Свою должность боцмана он воспринял как некий наследственный, почетный пост и целыми днями гонял по двору мяч. Даже таинственные намеки Юрки, что приближается срок выхода экспедиции, он пропускал мимо ушей, попутно намекая на крокет.

Иногда Томка забирался в беседку и примерял коньки. Они были велики, но Томка утешался, что к зиме у него нога вырастет. Радовал и прекрасный перочинный ножик. Когда же мама обнаружила порезанный палец и отобрала ножик, Томка с неожиданной решительностью пришел к Юрке:

— Боцман всегда с ножем... Поцэму я нет?

Юрка, конечно, понимал, что никакого боцмана Томка не видел, но общая тайна уже связывала их и заставляла действовать заодно. Юрка выпросил у мамы нож, передал его Томке и посоветовал прятать подальше. Нож Томка спрятал и тут же начал подговариваться, что у одного боцмана он заметил мешок, очень напоминающий юркин рюкзак.

Тут Томка явно пересолил. Выведенный из терпения, Юрка решил обуздать аппетиты своего боцмана и, вызвав его в густоту сиреневых кустов, прямо и откровенно заявил:

— Боцман служит и подчиняется капитану. Сопротивление бесполезно. Поэтому ты должен собственной кровью подписать обязательство. Или возвращай все мои вещи. Понятно? Подпишешь?

Томка, так или иначе, уже давно связал свою судьбу с этим знаменитым мореплавателем. Какое-то письменное соглашение дела не меняет. Служить, так служить!

— Хорошо, — со вздохом сказал Томка. — И цтоб новый крокет был мой!

Сказав это, Томка решил при первом же удобном случае выцыганить еще и цветные карандаши...

4

Это был замечательный документ! Из него Томка совершенно определенно узнал, что он обязан беспрекословно подчиняться капитану «во всякое время дня и ночи», под страхом лишиться боцманского звания с немедленной конфискацией мяча, коньков, ножика и крокета. Боцманское звание не особенно беспокоило Томку, но пункт о прекрасных вещах, которые он уже привык считать своими, встревожил не на шутку. Он даже пытался пустить в ход свое «поцэму», но капитан резко оборвал и спросил, угодно ли боцману подписаться собственной кровью на этом контракте.

Обстановка была такая, что пришлось согласиться. Но он тут же начал надувать щеки, и это встревожило Юрку. Опыт долголетней совместной жизни показывал, что вслед за надуванием щек у Томки неизбежно возникали очень сложные комбинации.

— Хорошо, — со вздохом согласился боцман. — Но у меня нет крови, а резаться не хоцу . . .

Предчувствие не обмануло Юрку. Этот пройдоха-боцман, из милости принятый на корабль «Полюс», оказался изворотливым. Боясь очутиться в дураках, Юрка ткнул пальцем в заживающую царапину, резонно заметив, что при честном отношении к делу оттуда можно извлечь каплю крови. Но Томка хладнокровно ответил:

— Оно уже засохло, — и торопливо прикрыл рукой сбитый локоть, нагло показывая, что на эту тему он не желает больше разговаривать.

Создавалось запутанное положение. Юрка попробовал было взять хитростью, соблазняя Томку взлезть на старую вишню. Бестия боцман сразу же разгадал коварные планы капитана.

— Поцэму? Это цтоб я оборвался? Не хоцу . . .

И Томка, который недавно раза по три в день рвал штанишки, лазая по деревьям, стал вдруг примерным мальчиком и даже начал проповедовать послушание маме.

— А раз мама говорит, цтоб не лазить, знацыт . . .

Юрке стало совершенно ясно, что теперь Томка, увиливая от контракта, будет остерегаться и ограничится возней с впол-

не безопасным мячиком. Перспектива была мрачная. Юрка видел замыслы своего боцмана, хитрость которого грозила провалом так хорошо подготовленного плана. Правда, оставалась смутная надежда, что этот презренный комбинатор расквасит себе нос. Раньше это случалось довольно часто. И Юрка решил не спускать глаз с Томки.

На этот раз судьба благоприятствовала знаменитому капитану. Не прошло и двадцати минут, как боцман, оставив мяч, бросился догонять кошку. Это его и погубило: на повороте тропинки он сам себе наступил на пятку и полетел кубарем. С воинственным кличем ринулся Юрка и вмиг очутился над Томкой.

— Вставай!

Томка не хотел подниматься. Хныкая, он шмурыгал носом, всячески выкручивался, явно выгадывая время. Но Юрка был настойчив и пришлось подчиниться.

— Идем в беседку, — тревожно шептал капитан. — Скорей! Да ты не стирай кровь, пусть капает...

Юрка торжествовал. Наконец-то мечта близка к осуществлению! Этот изворотливый боцман в его руках. Но взглянув на Томку, сердце бравого следопыта ёкнуло: спокойствие Томки показалось подозрительным.

Желая поскорее все закончить и не дать возможности боцману очухаться, Юрка втолкнул его в беседку и моментально вытащил из кармана контракт и огрызок карандаша.

— Вымажь кровью карандаш и напиши свое имя, — решительно приказал капитан.

Томка взял карандаш, повертел его в руках и равнодушно вернул Юрке:

— Это цтоб Томку написать? Я могу папу и маму и то пецатными буквами...

Вот она — катастрофа. Сердце не обмануло. Юрка видел себя на краю гибели. Он презирал этого скользкого, увертливого толстяка, который, к тому же, улыбается над безнадежным положением того, кто...

— Ах, так! — не выдержал Юрка. Схватив контракт, он приклеил его к томкину носу. — Тут твоя кровь! — с вдох-

новением изобретателя воскликнул знаменитый путешественник. — Это еще лучше подписи. Вроде печати...

А Томка сплошал. Он упустил момент, когда можно было схватить и порвать этот важный документ. Теперь уже поздно. Окровавленная бумага, отдающая его жизнь в руки Юрке, бумага, в которой была заключена судьба ножа, коньков, крокета, уже находилась в глубоком кармане штанов великого северного путешественника...

5

Вечером в кабинете врача Владимира Севастьяновича Жолтого было уютно. Развалившись на диване, хозяин открыл толстую общую тетрадь, на обложке которой было написано: «Корабельный журнал полярного судна «Полюс». Год 1924».

— Галочка, — обратился врач к своей жене, Анне Ианнуарьевне. — Налей Викстеру еще рюмку коньяку... И не обижайся, если твой младший сын Томка под пером великого путешественника будет выглядеть не особенно важно...

Закурив папиросу, Владимир Севастьянович начал листать страницы «Корабельного журнала».

— 11 июня... Да, о тридцать втором калибре уже прочитано... Так. Так. Ага... 15 июня. Тут свежая запись: «Когда этот хвастун Викстер узнает, что я нахожусь на Северном полюсе, он с горя напьется. А то противно слушать, как он говорит об охоте. И всегда медведь. А это вопрос, может, медведя убил еще дед Тит, а Викстер выманил у него шкуру. А ружье двенадцатого калибра. Поэтому он с такой завистью смотрит на мои калибры. Он тоже кое-что понимает...»

Владимир Севастьянович взглянул на Викстера.

— Ну, как? Нравится ваш портрет? Погоди, дальше не то будет...

— 19 июня: «Томка знает, что я давно уже не Юрка, а путешественник и охотник, не такой, как Викстер. А он уже молчит о медведе. Стыдно стало. А Томка обещал никому не говорить, кто я. За это пришлось отдать черный мячик. Жал-

ко. После Северного полюса обязательно отберу. Пусть не думает...»

— 20 июня: «Не понимаю, зачем Викстеру карта? Когда я у него спросил, где мы живем, то он даже не сразу нашел. А когда нашел, то чтобы опять не потерять, нарисовал кружок синим карандашом. Тоже охотник! А где Северный полюс, я сам прочитал, и спросил, как это далеко. А он и не знал. Сначала засмеялся, а потом говорит: «Дня три надо ехать. А может и больше...» А я думаю, что не меньше пяти. Но я ему об этом не сказал. Пускай себе думает, что это близко».

— 22 июня: «И мама тоже. Не умеет воспитывать детей. Тогда не надо и разводить. Разве можно, чтоб Томка такой жадный. Мне пришлось взять Томку боцманом. Он скандалист и хитрый, но зачем такой жадный, это невозможно. Томке я дал половину Северного полюса, а он потребовал и мой новый крокет и говорит, что дешевле не согласен. Говорит, что каждый боцман имеет крокет. Но я крокет не отдал, мне и самому пригодится. Я ему дал коньки, а он потребовал перочинный ножик, который с футляром. Пришлось дать. Но это ничего. Потом отберу. Довольно этому жаднюге и Северного полюса. А все мама виновата».

— Ну-с, на этом пока заканчивается... Идем ужинать...

— Нет, нет, — воскликнула Анна Ианнуарьевна. — Там еще что-то... Прочитай!

— Ммм, — промычал Владимир Севастьянович. — А, пустяки, не стоит, — и хотел захлопнуть «Корабельный журнал».

Анна Ианнуарьевна запротестовала:

— Читать, так все читать!

— Ну... «А все мама виновата... Да хорош и папа. Ему бы только в преферанс играть да пиво пить. Нет, чтобы присмотреть за сыном. Тоже пьяницей будет»... Ну вот и все: довольны? Всем досталось... А теперь, Викстер, отнесем «Корабельный журнал» в тайный склад северного мореплавателя, а потом... выпьем пивка...

6

С тех пор, как кровью было скреплено обязательство, боцман несколько исправился. Он даже не заикнулся о цветных

карандашах, когда капитан потребовал, чтобы те семьдесят копеек, которые лежали в томкиной копилке, были пересыпаны в общую корабельную кассу.

Подготовка экспедиции близилась к завершению. Все нужное для путешествия было перенесено в укромное место, в камни среди густых ореховых кустов, занявших небольшой овражек в конце сада.

Однажды капитан свистком вызвал боцмана. Томка понял, что случилось нечто необыкновенное: вид у капитана был торжественный.

— Надо проверить наши запасы. Идем! Нам никто не помешает...

И на самом деле, время было выбрано очень удачное. Папа и Викстер играли в карты, а мама ушла в гости. Дома оставались только кухарка и фокстерьер, но они не представляли никакой опасности.

В кустах было темно и тихо. Даже тропинка к этому тайному хранилищу не была протоптана.

Из небольшой пещеры, вырытой среди камней, извлекли все запасы. Вот они — сухари. Вот рыболовные крючки и четыре патрона знаменитого тридцать второго калибра. Бутылка лимонаду. Тяжелый серебряный столовый нож, отточенный на кирпиче. Одеяло и рюкзак. А в самом низу — коньки, перочинный нож, крокет и, наконец, цветные карандаши.

— А цветные карандаши как сюда попали? — гневно спросил капитан.

Боцман смутился и покраснел.

— А это твои... которые мои, — запутался в объяснениях Томка.

Капитан с презрением оглядел растерявшегося боцмана и молча сунул карандаши в карман. Потом повелительно указал пальцем на крокет и коньки:

— Немедленно унести в беседку!

Стараясь избавиться от стыда за незаконно присвоенные карандаши, Томка схватил запретные вещи и убежал, в душе радуясь, что капитан разрешил оставить мячик и перочинный ножик. Боцману казалось, что в том, отдаленном, весьма

смутно представляемом путешествии, мячику и ножу будет отведено значительное место.

Проверка кассы корабля показала, что в распоряжении экспедиции очень крупные средства. Даже после покупки новой лески и крючков специально для ловли китов, в наличии осталось один рубль и пятьдесят копеек.

— Здорово! — сказал Юрка.

Томка дипломатично воздержался от одобрения, потому что не особенно отчетливо представлял себе грандиозность суммы. Он привык считать гривенники, которые очень удобно обмениваются на халву. При этом он всегда искренне удивлялся наивности людей: берут маленький гривенник и дают великолепный кусок вкусной халвы. Предполагая тут какую-то роковую ошибку, Томка каждый раз, совершив эту выгодную для себя сделку, спешил уйти из магазина, правильно рассуждая, что всяк человек сам отвечает за свои собственные промахи. Вмешиваться в них у Томки не было никакого желания.

Все эти соображения возникли и сейчас. Человек трезвого опыта, Томка знал, что хранить гривенники не имеет смысла. Тем более, что они обладают противной способностью теряться. Учитывая все это, оборотистый Томка предложил:

— Знаешь цто? На все гривенники купим халвы!

Юрке даже обидно стало: почему такие гениальные коммерческие идеи возникли у этого глупого толстяка? Если бы он не впутался, сам Юрка мог бы предложить то же самое. Поэтому сразу согласиться с мнением Томки было несколько неудобно.

— А что же мы будем делать с халвой?

— Цто? — переспросил Томка, уже почувствовавший сладость во рту. — Как цто? А торговать?

— Как торговать?

— Оцень обыкновенно... — Тут Томка вдохновенно закатил глаза. — Тебе захоцэтся, ты у меня купишь.... Потом я у тебя... А корабль идет...

Опять у этого хитреца замечательный план! Чтобы оставить за собой последнее слово, Юрка сказал:

— А халву сложим в жестяную банку из-под икры...

7

У Юрки есть папа и мама. Очень часто он думал о том, что если бы случилось какое-либо несчастье, землетрясение, например, он бросился бы спасать папу и маму, он бы свою жизнь отдал, вынося их из-под падающих скал. Вот до чего он любил папу и маму.

К охотнику Викстеру у Юрки были совсем другие отношения. Папа и мама . . . да . . . Это те, кого надо просто любить и жалеть, смотреть, чтобы с ними ничего не случилось, думать о том, что они станут старенькими и будут нуждаться в юркиной ласке. . . Викстер! О, это совсем другое. Викстер — это все. Он больше любви. С ним можно стать рядом. С ним можно броситься на спасение погибающих, ночевать в лесу и на берегу реки. С ним можно ловить рыбу . . . Это — Викстер! Юрка сам видел, как стреляет этот Викстер. Конечно, это Викстер убил медведя, и совсем он этим не хвастается. Наоборот, он просто кладет свою руку на плечо Юрки. И рука эта очень уютная. У мамы, конечно, рука маленькая, красивая и пальчики ласковые. К таким пальчикам хорошо прижаться щекой . . . Но идти далеко, смотреть в глаза опасности, грудью встречать врага, для этого надо чувствовать руку Викстера.

И вот перед этим Викстером нужно было скрывать свое настоящее лицо. Это было тяжело. В особенности было тяжело, когда Юрка сидел с Викстером у костра, смотрел в звездное небо и слушал, без конца слушал удивительные истории.

Иногда ему казалось, что вдали раздается грузный и мерный шаг мамонта и вот-вот, еще немножко, и из темноты выглянут желтоватые бивни диковинного животного. Юрке не страшно, но на всякий случай он придвигается поближе к Викстеру и трогает рукой свое собственное ружье тридцать второго калибра.

Викстер подбрасывает сосновые ветки. Костер вспыхивает. Гаснут таинственные шорохи и прекращается тяжелый топот. Викстер гладит блестящую в свете огня шерсть своего любимого гончего Каниса. И начинает рассказывать, как в человеческую пещеру впервые прибилась собака и улеглась у костра. Собака была первым зверем, на шерсть которого положил руку человек. Собака и человек стали друзьями . . .

Потом из лесу пришла в шалаш кошка... Как она пришла, как завоевала сердце женщины своим уютным и теплым мурлыканьем, и как родилась идущая из глубины веков вражда между кошкой и собакой, обо всем этом говорил Викстер. И Юрка видел прошлое и понимал его.

— Юрочка, — говорил Викстер, — мальчик мой Юрочка... Может быть и не совсем так все это произошло, но я так вижу... Это моя фантазия, порожденная лесом и костром, нашим небом и звездами и вот этой ночью... Мне так хочется видеть...

— Викстер, Викстер! — прижимаясь к охотнику, шепчет Юрка. — Это и на самом деле так было...

— Откуда ты это знаешь, дорогой мой мальчик?

Юрочка не может объяснить. Но он верит своим словам, он смотрит на черные ели, на древний костер, поднимает голову к звездам, и все, то давнее прошлое, кажется ему такой же реальностью, как и корабль «Полюс», и предстоящее путешествие, и хитрый боцман, и корабельный журнал, и таинственная жизнь Севера.

А главное — сны. Он их вспоминает и в них видит подтверждение всему, о чем говорит Викстер. Но он не может рассказать об этом. Яркость сновидений выше его сил. И утомленный воздухом, блеском огня, шорохом волн и таинственными видениями, он закрывает глаза и уходит в мир не видимых простым глазом красок...

Утром он просыпается с ощущением некогда лежавшей на нем чьей-то теплой руки и кем-то сказанных ласковых слов: «Мой мальчик, Юрочка... Великий капитан и следопыт...»

Чья это могла быть рука? Кто мог сказать такие слова?

И Юрочка пристально рассматривает лицо спящего охотника. Оно спокойна и скрывает тайну...

8

Из-за леса выплывали грозовые тучи, подкрадывались к солнцу, иногда останавливались, как будто поджидая отстающих.

Игра на небе была очень интересной. За этой игрой наблюдали Юрка и Томка и не заметили, как к ним подошел Викстер.

— Гроза идет... Вы не боитесь грозы, ребята?

Томка поежился и ответил:

— Боюсь... оно стреляет...

Юрка покосился на брата и промолчал: трусость боцмана была ему противна.

— У нас что! — продолжал охотник Викстер. — А вот на Северном полюсе, это, брат... Океан гудит, ледяные горы лезут и лезут... Седые волны дышат холодом... Ветер свистит... Беда капитану, захваченному штормом среди океана...

Томка в ужасе прижал свои ручки к пухлым щекам и прошептал:

— А... а боцману тоже беда?

— И боцману, брат, беда... Океан, он, брат, не разбирает, где тут капитан, где боцман...

— А... а поцэму не разбирает?

— Ну потому... по разному... Потому что капитан должен знать, куда и когда ехать... Сначала, брат, посмотри на барометр. Хорошая погода — езжай... А если переменная да к шторму — сиди дома...

Неожиданно обстановка осложнилась. Ужасы, которые могли встретиться впереди, смутили даже Юрку. Попадаться впросак не хотелось.

— А через барометр, — спросил Юрка, — видно, какая погода?

— Не через, а по берометру видно... А разве ты не знаешь, Юрка, что такое барометр?

Если бы здесь не было этого глупого боцмана, Юрка откровенно признался бы, что в барометрах он еще слабо разбирается. Но при Томке...

— Это который, — вмешался Томка, — подмышку суют для здоровья...

Юрку сильно покоробила догадливость Томки, этого труса, боящегося даже грозы. Но Викстер рассмеялся:

— Нет, Томка, ты ошибся... Идемте, я вам покажу барометр...

Аппарат был очень интересный и понравился Томке.

— Не часы, а со стрелкой. И погоду угадывают...

— Вот видишь, Юрка, — объяснял Викстер. — Стрелка перешла «переменно» и идет на «грозу»...

Юрка был потрясен открытием. Вот чего не хватает для успеха экспедиции!

— А можно, — спросил он нерешительно, — купить такой барометр?

— А зачем покупать? Приходи и смотри...

Нет, это Юрку не устраивало. Как бы угадав мысли своего капитана, Томка важно заметил:

— Нам оно оцэнь нужно...

— Ну, — сказал Викстер, — «оно» стоит очень дорого. Даже если продать все ваши вещи, и тогда денег не хватит...

— И крокет? — с испугом спросил Томка. — Не хоцу...

— Подожди! Юрка, знаешь что? — воскликнул Викстер. — У меня есть второй, я тебе его подарю...

Сложный вопрос разрешился очень благополучно. Барометр был повешен в беседке.

Раньше всех в доме просыпался Юрка. Быстренько одевшись, он сразу же мчался к таинственному аппарату и внимательно его изучал. Следом за ним появлялся и любопытный Томка.

— Ну, цто?

— Переменно...

Томка не совсем ясно представлял себе это «переменно», но чувствовал, что барометр внес путаницу в жизнь экспедиции. К лучшему это или к худшему, такими вопросами он не занимался, всецело положившись на капитана.

А Юрка впервые в своей жизни понял, что в этом мире не все так просто. Просто было несколько дней назад. И даже путешествие на Север являлось делом обычным и легким. Вот карта, вот синий кружок (это мы!), вон там, вверх и немного вправо, Северный полюс. Все естественно. А барометр, о существовании которого Юрка раньше и не знал, взял и нанес

резкий удар, и под ударом рухнули твердо сложившиеся представления. Оказывается, ехать можно не только имея хорошего боцмана (а разве Томка боцман?). Нужно нечто другое, зависящее от барометра. И получилось, что судьба экспедиции непонятным образом подчинялась капризам этого странного механизма, который по своему усмотрению может двигать стрелку в любую сторону.

Даже Томка, не умея читать, скоро приспособился к тонкостям барометра. Очень часто, зажав подмышкой мячик, он вытягивался на цыпочках, хмурил брови, неодобрительно шевелил губами, а потом мчался к Юрке и трагически шептал:

— Опять непременно... И цто б это знацыло?

Между прочим, Томка радовался приобретению барометра и, в глубине души, одобрял поведение этого сложного аппарата. Постепенно он начал приходить к убеждению, что барометр вообще не способен сдвинуться с «переменно», и принимал это обстоятельство, как освобождение от своих сложных боцманских обязанностей. Наконец, дело дошло до того, что Томка перестал думать об экспедиции, с утра до вечера околачиваясь на крокетной площадке.

Юрка был наполнен тревогой. Он проник в тайные мысли своего боцмана и страшился часа, когда вся команда корабля вдруг выйдет из повиновения. К тому же первые сигналы бедствия уже были: два или три раза боцман не явился на долго и резко верещавший свисток.

Этому надо было положить предел. И вот капитан грубо приволок боцмана в беседку и потребовал объяснения. Боцман нагло хлопал длинными ресницами и безбожно врал:

— Я ницэго не слышал...

Тогда Юрка решил применить свое право сильного и в отсутствие Томки унес с площадки крокет и спрятал его в укромное место. Но вернувшийся боцман устроил пронзительный рев, и Юрка еле успел втянуть его в кусты, чтобы случайно не услышала мама. Здесь, наедине с этим пройдохой, Юрка напомнил ему о кровью скрепленном обязательстве. Но боцман сделал круглые глаза и начал надувать щеки. Почувствовав неладное, Юрка решил сразу же погасить недовольство в команде и вернул Томке крокет. Собрав дужки, шары и молотки, боцман сел на них и вдруг дерзко потребовал:

— А цто ты хотел забрать крокет, дай мне цветные карандаши...

— Все ?— испуганно прошептал Юрка.

Боцман подумал и милостиво сказал:

— Пока... цэтыры...

9

Нужны были героические меры, чтобы не рухнуло все дело экспедиции. Юрка, как никто, понимал, что при сложившихся обстоятельствах промедление смерти подобно.

И на самом деле: уже пришлось из-под самого низа запасов вытащить мяч и перочинный нож. И отдать этому шантажисту. Чтобы не лишиться помощника, чтобы предотвратить настоящий бунт, пришлось пожертвовать цветными карандашами.

Капитан понимал, что все это — только отсрочка. Это в особенности стало ясно, когда он увидел неожиданно появившегося перед собой Томку. Пройдоха принес новенький гривенник и потребовал кусок халвы.

Капитан горячо доказывал, что это неприкосновенные запасы, предназначенные для торговли в пути. Ничего не помогало. Томка своей убийственной логикой и хитростью убедил капитана, что, в сущности, все равно, кому будет продана халва: важно получить гривенник, то-есть произвести торговый оборот и положить наличные денежки в карман. Все было ясно: сегодня Томка покупает и платит Юрке... завтра Юрка покупает и платит Томке... Халва принадлежит кораблю «Полюс». Кораблю принадлежит касса. Капитан и боцман — корабельные. Следовательно...

Доводы были изумительно красноречивые. Первая торговая сделка на полярном корабле «Полюс» состоялась. Поступил первый гривенник. Завязывая его в носовой платок, Юрка с презрением посмотрел вслед уходящему бездельнику, успевшему вымазать халвой даже уши.

Под вечер, роясь в карманах, Юрка машинально вытащил платок и с удивлением посмотрел на узелок. Он успел за-

быть, что в нем хранится торговый гривенник. Развязав узел, Юрка увидел монетку и вдруг почувствовал во рту аромат и вкус халвы. Он немедленно разыскал Томку, и вторая за этот день торговая операция завершилась. На этот раз гривенник получил боцман, и так как у него не было кармана и носового платка, то, боясь потерять кассу корабля «Полюс», он тут же вернул гривенник капитану и взамен взял порцию халвы.

Почти весь следующий день участники экспедиции просидели в кустах. Они торговали. Гривенник переходил из рук в руки. Наконец уже перед самым обедом, Томка, еле дыша, протянул гривенник Юрке. Капитан машинально принял и в недоумении остановился:

— Все...

— Цэво все?

— Халвы больше нет...

— Поцэму? А гривенник взял?

Юрка попытался всучить боцману монетку, но тот поднял визг, заодно выгребая крошки халвы из пустой уже коробки. Боцман считал себя обманутым и потребовал остальные цветные карандаши.

За обедом Томка ничего не ел, икал и хлопал глазами. Потом его стошнило. У боцмана поднялась температура и, засыпая под ласковой рукой матери, он бредил половиной Северного полюса и «непременной» погодой.

Но уже на следующее утро Томка был здоров. И вот тут, наконец-то, коварная стрелка вздрогнула и стала медленно передвигаться на «ясно». Первым это заметил Юрка. Поймав Томку, он рассказал о предстоящем переломе в их жизни, о том, что теперь перед ними сияние будущего и что корабль «Полюс» сможет выйти в плавание.

Это известие Томка выслушал без энтузиазма. Почти все имущество Юрки уже принадлежало ловкому боцману. Мелькнула заманчивая мысль, что не плохо было бы сохранить эти вещи, а самому никуда не ездить. Конечно, у Юрки еще оставался замечательный рюкзак, и жалко, если он затеряется на Севере.

Был такой момент, когда Томка начал надувать щеки, чтобы предложить следующую комбинацию: пусть Юрка забирает себе томкину половину Северного полюса, а Томка огра-

ничится только коньками, карандашами, крокетом, мячом, ножом и... рюкзаком. И Томка остается дома. Но быстро оценив несерьезность такого предложения, боцман вздохнул и попытался отвертеться от экспедиции под благовидным предлогом, что ему вчера мама ставила термометр для здоровья.

Но Юрка, в порыве отчаяния, рискнул всем: выезд экспедиции 3 июля. Ему известно, что в этот вечер Викстер и папа приглашены к доктору Абрамову, а мама, по обыкновению, засидится у соседей. Кухарка будет спать и...

Капитан полярного корабля «Полюс» готов идти на новые жертвы. Капитан корабля Юрий Владимирович Жолтый дает письменную гарантию боцману этого же корабля, Томке Владимировичу Жолтому, что, помимо половины Северного полюса, он вручает боцману все острова, которые...

— Не хоцу острова... Рюкзак и гривенник, — потребовал боцман.

Капитан растерялся от такой дерзости. Он готов был пустить в ход кулаки, но вспомнив, до чего визгливо орет этот шантажист, взял себя в руки. В голосе капитана зазвучала сталь.

— Хорошо... Острова. Рюкзак. Гривенник. Экспедиция отправляется вечером 3 июля. Ни днем позже. Согласен?

Несмотря на то, что все его условия были приняты, боцман долго сопел. Перебрав в уме все имущество Юрки, придя к полному убеждению, что после потери рюкзака его родной брат остается несчастным нищим, Томка глубоко вздохнул и ответил:

— Согласен...

Получив рюкзак и гривенник, боцман начал выбираться из кустов по направлению к беседке. Капитан, после глубокого мрачного размышления, медленно вынул «Корабельный журнал» и начал писать. Иногда он покусывал карандаш...

10

В кабинете были те же: Владимир Севастьянович, Анна Ианнуарьевна и охотник Викстер.

Поставив настольную лампу поближе, доктор опять раскрыл «Корабельный журнал».

— Посмотрим, — сказал он, — насколько продвинулось у них дело... И так...

— 22 июня... было... Ага!

— 23 июня: «Боцман в моих руках. Но какой он хитрый. И если надувает щеки, обязательно обманет. У папы тоже такая привычка. Надувает, надувает щеки, а потом как закричит. Он ужасно боялся кровью расписаться. Говорит: «Крови нет». А когда расквасил нос, говорит: неграмотный. И на самом деле не умеет. А мама тоже слепая. У нее Томка все умница. Ха. Ха. Но ничего, он носом печать поставил. Теперь он в моих руках. Хотя и пришлось отдать крокет. Посмотрим. После Северного полюса пусть надувается».

25 июня: «Закуплена халва. Будем торговаться. Это удивительно, но выдумал Томка. Он очень напоминает папу. Папа торгуется в карты. Торговался, говорит, бешено. Без двух. Вот и Томка то же. Халву сложили в банку. Дала Фекла Ивановна. Почему нельзя взять с собой Викстера?»

26 июня: «Томка — трус. Викстер, кажется, пробовал попасть на Северный полюс. Да где ему! А теперь напуган, рассказывает: «У Полярного Круга океан гудит, ледяные горы лезут и лезут, седые волны выше дома, а ветер свистит». Даже страшно слушать! И холодно. Вот бы сознаться Викстеру. С ним бы не страшно. А Томка перепугался. Хорошо, что я знаю, при какой погоде надо ехать. Чтоб на барометре «ясно». А Томка — оболтус, говорит, что барометр это который подмышку для здоровья. Смешно».

28 июня: «Опять додумался этот оболтус. Начали торговать халвой. И откуда у Томки этот гривенник? У мамы выклянчил. А день прошел незаметно. Все торговали и торговали. Оказывается, торговать невыгодно. Почему-то выручили только один гривенник. А продали целую банку. Гривенник пришлось отдать Томке. И цветные карандаши. Зато его тошнило халвой. Еще бы».

29 июня: «На Северном полюсе льды и переменно. Ехать нельзя. Слежу за боцманом. Пришлось кой-чем пожертвовать».

30 июня: «Ура! На Северном полюсе стрелка идет на «ясно». На корабле не все спокойно. Пришлось отдать рюкзак и гри-

венник. Пусть. День выезда — 3 июля. Дома никого не будет. 3 июля! 3 июля! 3 июля! Если бы Викстер! Вот бы с ним. А потом вернулись бы и я отобрал бы все свои вещи. 3 июля!»

Владимир Севастьянович торжественно закрыл «Корабельный журнал».

— Итак, — сказал он, — историческая дата: 3 июля полярный корабль «Полюс» при капитане Юрии Владимировиче Жолтом и при боцмане Томке Владимировиче Жолтом отправляется в далекое путешествие... Что вы на это скажете, друг и покровитель Юрки, вы — охотник Викстер?

— Мы, — ответил Викстер, — вместе с заслуженным деятелем медицины, отцом знаменитых полярных путешественников, должны подумать и исторический день 3 июля превратить в такой яркий праздник, чтобы и у капитана и у боцмана на веки-вечные сохранилась теплая память об этой дате, об отце, маме и... и обо мне, охотнике Викстере... Потому что... Потому что... Нет, не надо, а то мне придется смахивать слезу... Вот, знаете, Анна Ианнуарьевна, мы с улыбкой читаем этот «Корабельный журнал», и смешно немножко... и тревожно... Но как это хорошо! Хорошо иметь таких сыновей, Владимир Севастьянович! А все-таки... Юрку я вам создал. Он ваш сын, но вот такой, вот этот Юрочка, ведущий записи в «Корабельном журнале», этот Юрочка — мой!

В кабинете было тепло и радостно. Были подняты бокалы с вином за здоровье и счастье знаменитых полярных путешественников, готовящихся отплыть в неизвестность на своем призрачном корабле «Полюс»...

11

Хорошо, тщательно была изучена дорожка, по которой 3 июля 1924 года знаменитый капитан, в сопровождении боцмана, решительным шагом спустится с крутого берега Припяти, уверенно взойдет на борт корабля «Полюс» и бесстрашно ринется навстречу будущему.

Великому следопыту стоило зажмуриться, и дорога к кораб-

лю во всех подробнейших мелочах вырисовывалась ясно, до каждого бугорка и впадины.

Сад. Овражек с орешниками. Подготовленный пролом в изгороди. Дальше — поворот направо и у дикой яблони узенькая тропинка. Тропинка уводит все дальше и дальше и, наконец, за спиной остается город, дом, где папа и мама, где охотник Викстер... Еще немного, и сухой пень. Потом — поворот, которым начинается подъем к крутому берегу... Тишина... Ночь...

И вот впереди лунными бликами мигнула черная вода. Осторожней! Тут обрыв. У обрыва большой серый камень. От камня уже почти незаметная тропочка среди березок, тропочка... это последнее, что соединяет прошлое с будущим... Настоящее капитан «Полюса» безжалостно зачеркнул... Если думать о настоящем... нет, о настоящем ему нельзя думать... Идти прямо, из прошлого в будущее...

Так представлял себе Юрка вечер 3 июля... Этот вечер пришел удивительно неожиданно. Еще вчера он казался очень далеким, таким далеким, что и приблизиться к нему трудно. И вот он здесь, вопросительно ожидающий.

Широко открытыми глазами смотрел Юрка в темноту ночи и слушал тишину. Тишина была наполнена грохотом сердца. Это не был грохот страха. Это было удивление перед самим собой и перед тем, что удалось ему создать. А созданное было прекрасно. И этот мощный корабль, и неизвестное будущее, во имя которого зачеркивалось настоящее, и боцман, который спал в своей кроватке и тихо посапывал, и звездная ночь... все это облекалось в реальные, осязаемые формы... Оставалось только пойти, взять руль, свистнуть, и корабль наполнится жизнью, ветер ударит в послушные паруса и заскрипят снасти. Потому что пришел капитан...

Юрка быстро поднялся и ему нестерпимо захотелось крикнуть громовым голосом:

— Боцман!

Но этого он не сделал: это придет позже... И потому он потихоньку нащупал кроватку Томки, наклонился к нему и долго смотрел на пухлые щечки своего брата.

— Томка... пора... — прошептал Юрка. — Вставай..

Томка облизал губы, чмокнул, пробормотал сквозь сон: «Непременная погода», и вдруг нырнул под одеяло. Подождав немного, Юрка приподнял одеяло и рассмотрел, что боцман продолжает спать, держась ручонками за подушку.

— Том... вставай!

Юрка начал беспокоиться, что Томку не удастся разбудить. А вдруг Томка испугается и начнет плакать? Но к удивлению Юрки Томка сел, спросил: «Цто?» и безропотно позволил себя одеть.

Только когда все было готово и они вышли в сад, Томка заволновался и спросил:

— А поцэму темно?

Юрка понял, что Томка все это время был во власти сна и только теперь, на свежем воздухе ночи, пришел в себя. Но он не заплакал. Наоборот. Ему даже понравилась эта необычная прогулка, хотя он и сказал:

— Цтоб не страшно, возьми меня за руку...

И они пошли...

Сад... Овражек... Орешники. Здесь маленькая остановка... Ружье и мешок...

— А мяцык? — тоном заговорщика спросил Томка.

— Все здесь... в рюкзаке...

— То-то... — одобрительно прошептал боцман.

Протискиваясь в подготовленный пролом в изгороди, Юрка обо что-то твердое задел ружьем. Путешественники замерли. Юрке показалось, что этот стук разбудил весь город... Ничего. Вдали полаяла собака и замолкла.

Юрка поразился, насколько обесформилась, изменилась ночью так хорошо знакомая днем дорожка. Он даже боялся, что потеряет направление, заблудится и никогда не попадет на корабль. Но чем дальше они двигались, тем больше привыкал глаз и, наконец, стал узнавать все приметы на пути к «Полюсу». Вот и поворот.

— Знаешь цто? — вдруг произнес боцман. — Расстегни мне штанишки...

Юрка вздрогнул от неожиданности: он удивился, что рядом с ним кто-то идет. До сих пор, с момента выхода из сада, он был так погружен в свою личную жизнь, в свои наблюдения,

в свои важные мысли, что происходившее вокруг могло быть только бледной тенью его переживаний.

После короткой остановки, они двинулись дальше.

— Юрка, тебе страшно? — спросил боцман.

— А тебе?

— Мне тоже нет . . . только держи меня покрепцэ . . . Скоро?

— Сейчас . . . молчи . . .

Некоторое время они шли в молчании.

— Знаешь цто? — опять спросил Томка. — Цтоб после Полярного севера сразу домой. . . а то мама. А ты ножик взял?

— Взял . . . Чшшш . . .

Теперь они шагали медленно. Впереди был подъем, дальше обрыв к воде . . . и там, где-то, покачиваясь на волнах, корабль . . . Мгновение торжества приближалось.

Вдруг Юрка остановился.

— Слышишь?

Томка ничего не расслышал, но поспешил прижаться к Юрке. Потом осторожно спросил:

— Цэво?

Постояли . . . Все спокойно . . . Сонные звездочки ласково моргали . . .

Но сделав еще несколько десятков шагов к обрыву, они ясно различили голоса, идущие оттуда, от воды. Голоса были грубые и такие ненужные в эту тихую ночь.

Подойдя к обрыву и взглянув вниз, они увидели страшную картину. Зрелище было таким потрясающим, что пришлось сразу же спрятаться за камнем: на берегу, у самой воды, горело неисчислимое количество костров. В свете костров иногда мелькали силуэты людей. Неслись песни, крики, хохот. И все это сопровождалось звоном разбиваемого стекла.

Широко открытыми глазами смотрел Юрка с высоты обрыва: дикая оргия происходила около его корабля, около «Полюса».

— Цто?

Но Юрка не ответил. Он и не мог ответить, не мог рассказать этому храброму боцману, что происходит там, невдалеке,

около воды. Разве можно было объяснить, что какие-то пираты, проведав о снаряжении экспедиции, под покровом ночи напали и завладели кораблем, а теперь празднуют свою победу.

Пиратов было очень много. Силуэты на фоне костров мелькали и мелькали.

— Цто? — спросил опять Томка, стараясь разобраться в тайне этой ночи.

И Юрка заплакал. Бедный, знаменитый капитан! О, если бы с ним был охотник Викстер! Но его не было... А что может сделать один человек, пусть даже с ружьем тридцать второго калибра, против шайки морских разбойников? Это была бы безумная затея...

Оргия победителей продолжалась. Бесстыдный хохот, песни и крики оскверняли чистоту берега, от которого должен был отплыть корабль светлой мечты.

Вдруг тонкая огненная нитка поднялась к небу и высоко в воздухе задрожали зеленые, синие и золотые искры. Разорвалась ракета. Зрелище было удивительное.

— Цто там? Смотри... — в восторге воскликнул боцман.

Юрке было все понятно: пираты бросали вызов другим пиратам. И он не ошибся. Несколько в стороне новым водопадом разноцветных искр рассыпалась другая ракета. Вызов был принят!

А еще через мгновение на берегу началось нечто невыразимое. Множество людей боролось, бегало, кричало. В азарте схватки затаптывались костры, взлетали головешки и, вычертив огненную линию, с шипением падали в воду.

Потом загремели выстрелы. Гром битвы продолжался долго. Наконец, наступила тишина.

И это было понятно Юрке: бой закончился, и победители убирали трупы, прятали следы преступления...

Потом, как будто оттолкнувшись от воды, сюда, к обрыву, на котором лежали капитан и боцман, понеслись слова чужой, неизвестной песни, которую, может быть, пели на Летучем Голландце...

Юрка и Том, пораженные всем происходящим, слились с камнями. Они не замечали времени, не видели, что из-за ле-

са поднимается громадная луна. Воздух посветлел, и в лунной дорожке, протянутой по воде, ярко вырисовалось серебряное изогнутое крыло громадной птицы: это был парус на корабле «Полюс». Корабль оторвался от берега. Крыло становилось все меньше и меньше... А когда корабль готовился покинуть серебряную лунную дорогу, на его борту опять загремели выстрелы...

Опытный капитан вздрогнул, тронул плечо успевшего задремать боцмана и мрачно сказал:

— Ага... Я так и знал: бунт на корабле...

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Рассказ о том, как два мальчика собирались найти и поделить Северный полюс, закончен. Но автор считает нужным добавить к нему несколько строк...

Много-много лет назад появился рассказ «Юрка». За автора уцепились злые критики. Такого Юрки не может быть: автор его выдумал. Охотник Викстер — тоже выдуманный. В «Юрке» за занимательностью, за фантастикой рассказов у костра, за увлекающим юношей сюжетом — стоит чуждый современности автор.

А Юрка на самом деле существовал...

Совсем не повторяя рассказ «Юрка», автор взял свою старую юркину тему и написал «Бунт на корабле». Действующие лица этого «Бунта» не вымышленны. Юрка был другом автора.

Существовал такой Юрка, знаменитый капитан и следопыт... Томка... ну, Томке было «пять лет с хвостиком»... И автор как живого видит и сейчас этого карапуза, с хитро надувающимися щечками и острыми огоньками в глазах, защищенных громадными, пушистыми ресницами.

Не менее реальным был и их отец — Владимир Севастьянович Жолтый, доктор медицины, известный врач-терапевт,

до и в первые годы революции первый ассистент знаменитого киевского профессора Образцова. В. С. Жолтый умер в тридцатых годах; вслед за ним трагически погибла и его жена, мать Юрки и Томки, Анна Ианнуарьевна...

В 1933 году Юрка оканчивал десятый класс. Осенью того года автор виделся с ними в последний раз. Вспоминали прошлое. Говорили о Юрочке, капитане, жестом богача бросившего брату щедрый подарок: половину Северного полюса со всеми прилегающими к нему островами. Переживали «Бунт на корабле» и вот тут уже семнадцатилетний Юрка откровенно признался, что он до сих пор не может понять, как тогда, в 1924 году, два человека (его отец и охотник Викстер) смогли на берегу реки Припять поднять такой шум, грохот, устроить такую перепалку и «оргию» у костров.

Распрощались, надеясь на новую встречу... И встреча... не состоялась... Теперь между автором и Юркой легло много лет...

И вот, вернувшись памятью в прошлое, здесь, среди гор и лесов Таунуса, автор восстановил образ девятилетнего Юрочки, творца своего собственного призрачного корабля «Полюс».

Франкфурт-Майн.

Северная Одиссея

Идет ветер к югу, и переходит к северу, кружится, кружится на ходу своем, и возвращается ветер на круги свои.

Екклезиаст.

1

Северный лес встретил их угрюмо и настороженно. В землистых, коряво-мрачных лицах старых сосен, давно уже переставших расти, таилось тревожное недоумение. Казалось, они боялись, что эти незваные помешают их тихому умиранию.

— Аким... пойдем...

Прислонившись к дереву, Аким молчал. Ему было трудно говорить, ему давно мешала дышать окровавленная, промерзшая тряпка, жестко сжимавшая горло.

Саввин спросил не потому, что хотел получить ответ. Была просто физическая потребность услышать чей-то голос. Спрашивая, он глядел не в лицо Акима, а на воротник его шинели, внимательно рассматривая темную, превратившуюся в лед кровь.

— Саввин... тяжко...

— Болит?

Синеватые губы Акима вздрогнули, но он больше ничего не сказал, устало качнув головой.

Саввин вдруг ярко представил себе, о чем может думать здесь, в этом северном лесу, Аким. Конечно, Аким никогда

больше не увидит свой родной Байкал и никогда не встретится со своим суровым седым отцом.

Потому ли, что неприкрытая правда этих мыслей была проста и до предела обнажена, потому ли, что жаль было оставить эту тяжелую жизнь, Аким медленно, как бы прощаясь, оглянулся вокруг. И удивился, увидев все прежнее: снег, сосны, темное небо. Все было старое, близкое и родное. И оттого, что все это было давным-давно виденное и такое знакомое, еще страшнее стало душе Акима и невыносимее боль в шее.

Он не видел, да и не мог видеть свою рану, но сейчас, всматриваясь в снег, в лес, он почему-то ярко представил себе разорванное пулей живое человеческое тело, истекающее густой, темнокрасной кровью. Ему даже показалось, что он видит, как она капля за каплей выходит из раны и медленно поглощается холодным полотном. Она просачивается очень медленно, и так же медленно уходит жизнь...

Аким слушал, как сочится кровь, и каждая капля ее отсчитывалась далеким, пока еще еле слышным, но уже погребальным звоном одинокой, ветхой кладбищенской церкви.

2

Они уходили все дальше и дальше. Они давно уже потеряли направление. Очень часто Саввину казалось, что весь мир стал пуст, что никто не встретится на их пути и они обречены еще и еще двигаться, пока усталость не заставит их равнодушно упасть. И тогда спокойно и постепенно сожмет их мороз, остановит работу сердца и остудит кровь, освободив их от мучений, от необходимости цепляться за безнадежно ускользающую жизнь, теперь уже утратившую значение.

Мир был пуст. Только они вдвоем двигались и нарушали белую пустоту, придавленную темным небом и скованную все более и более усиливающимся морозом.

К вечеру как будто поднялось небо, издалека мигнув слезами звезд. Жидким, но сухим и обжигающим стал воздух.

— Саввин, у меня... еще спичка есть...

Саввин знал об этом и сам. Уже давно думая о ней, он в то же время старался прогнать мысль об этой спичке, которую

нужно приберечь к тому моменту, когда без огня уже нельзя будет обойтись.

Но Аким был безжалостен. Он не мог уже идти, не мог переставлять ноги, хотя Саввин его все время поддерживал. Ему нужен был отдых, а для отдыха — костер.

Некоторое время Саввин почти нес Акима. Было мгновение, когда ему показалось, что рядом с ним шагает труп. Дрожа, он остановился и с радостью увидел, что Аким жив. После этого, с боязливой торопливостью опоздать, Саввин усадил его около дерева и принялся готовить костер. Ему хотелось сделать это поскорее, но он сам себя поймал на мысли, что это желание не связано с его внутренним чувством, а какое-то случайное, навеянное чужой волей. Только потом он понял, что костер нужен Акиму, тому, сидящему у дерева, и бесповоротно уходящему из жизни. И потому, что костер был нужен Акиму, Саввин его создавал.

Взяв последнюю спичку, Саввин долго рассматривал ее в темноте и не решался зажечь. Ему казалось, что головка спички отлетит и потеряется в снегу, или что спичка отсырела и не разгорится.

— Огоньку бы...

Сам ли это он подумал или то был шепот синих губ Акима, Саввин не знал. Но он слышал это слово, отчетливо подхваченное сознанием.

Пока он сидел на корточках, рассматривая спичку, ноги его стали чужими, деревянными, и почувствовав это, Саввин осторожно чиркнул. Спичка зажглась быстро и удивительно просто, как будто обрадовавшись возможности передать хитро спрятанное в ней пламя другим, вспыхнуть ярко, отодвинуть темноту и светлый круг наполнить теплом.

Когда костер разгорелся, Саввин перетащил к нему уже задремавшего Акима. И по мере того, как тепло костра стало наполнять Саввина, медленно, но настойчиво стало расти желание жить. То, дневное и покорное, уходило из этого светлого круга и пропадало где-то в темноте. Протянув руки к костру, Саввин с удивлением рассматривал свои длинные, тонкие пальцы, сжимал и разжимал их, радуясь возвращающейся силе. Он даже улыбнулся, заметив, что пальцы сделали очень точное движение, повторяющее быстрый бег рук по клавишам рояля.

В общем было даже тепло. Правда, оно охватывало только грудь, лицо, руки. Но это пустяк: можно поворачиваться, можно спасаться от холода, идущего оттуда, из темноты.

— Огоньку бы...

Это сказал Аким. Взглянув на него, Саввин поразился синеве его тонких губ и заостренности черт лица. Он стал говорить Акиму, что костер разведен, что он будет гореть долго, до утра, может быть до вечера и еще ночь...

О чем он говорил этому умирающему, он и сам плохо понимал. Но он продолжал говорить о том, что огонь силен, что он согревает, что он поможет им переждать морозы и они спасутся. И будут жить. Но Аким молчал. Саввин взглянул на него и понял: пусть его губы еще вздрагивают, пусть его грудь еще поднимается, но уже пришла смерть, уверенная в своем времени. Аким, видимо, это тоже почувствовал.

— Саввин, — совсем тихо сказал он. — Тут, в кармане, еще две спички и патрон... Возьмешь... после... Мне уже...

3

Громадные сучья, кинутые в костер, пылали остервенело. Казалось, они упивались своим правом безрассудно расточать хранящийся в них огонь, отодвигать мороз, смеяться над севером, отбрасывая его холодное дыхание. И север отодвинулся от полыхающего пламени, зло отгородившись от светлого, радостного круга плотной темнотой.

Обессиленный многодневным движением и холодом, Саввин, подчиняясь естественному желанию отдохнуть, опустил голову и прикрыл глаза. Треск костра и тепло, излучаемое им, сразу же породили дивные видения, наполненные нежными мелодиями, ласковыми улыбками и шорохом длинного, шелкового платья.

Она медленно приближалась, протягивая к нему руки; она шла из темноты, из глубины леса, такая же, им самим для себя созданная — Галина, Галя, Галочка. И слегка шуршал шелк, и глаза ее глядели с тоской и любовью.

«Ты вернулась?» — спросил Саввин. — «Да, я вернулась, — тихо прошептала она, — я пришла, вот видишь: я здесь».

С изумлением глядел Саввин и не мог понять, как появи-

лась она тут, на далеком севере, у костра, около которого умирал Аким.

«Посмотри, — говорит Саввин, — это Аким, с ним мы много дней страдаем, у него старый отец-охотник, раскольник, и он не увидит своего сына».

«Я не вижу его, — отвечает она, — его уже нет здесь... ты один, и я пришла к тебе, чтобы сказать, как тяжело мне прощаться с тобою».

«Подожди, подожди... — тихо шепчет Саввин. — Я хочу жить, хочу видеть тебя. Или, нет... погоди, я очень устал и сбиваюсь... Это — ты? Я люблю тебя».

Она с тоской смотрит на него. Потом медленно приближается, протягивает руки, сжимает его лицо и тихо целует в губы.

«Что ты делаешь? — в ужасе кричит Саввин. — Почему так холодны твои руки и так ледяны твои губы?».

«Я прощаюсь с тобой», — говорит она, и медленно, не оглядываясь, уходит из светлого круга и пропадает в темноте.

Саввин растерянно следит за ней. Не шуршит больше шелк; он колюче-ломко звенит, как будто материя утратила способность мягко и покорно подчиняться линиям тела. Это его поражает; он пытается ее догнать, что-то нужное и важное узнать...

Поднявшись с трудом, он пытается шагнуть и не может. Тогда он открывает глаза, и ужас реального сразу падает на него.Воплощается этот ужас в черном мраке и чуть-чуть тлеющих угольках там, где недавно буйствовал веселый огонь. С трудом добравшись до этих, уже готовых потухнуть точек, Саввин негнущимися и омертвелыми пальцами собрал угольки в кучку. Страх, что он не сможет вновь разжечь костер, безжалостно стирает недавние яркие видения; жалкий, вновь цепляющийся за жизнь, он весь в стремлении увидеть живой хаос пламени.

Он очень долго возился. И в тот миг, когда отчаяние сказало свое последнее н е т, нерешительно пополз слабый, готовый вновь исчезнуть огонь. Саввин сжался, он боялся двинуться, ему казалось, что сердце своими усталыми ударами может погасить этот возникающий призрак. Молчащее ожидание его утомило. Если бы такое состояние продолжалось еще немного, он в бессильном бешенстве обреченности раскидал бы остатки

еще горячей золы. Но в этот момент откуда-то снизу скользнули огненные струйки и пламя взметнулось кверху. И нехотя отодвинулась темнота.

Как только Саввин осознал значение вернувшегося тепла, он оглянулся вокруг. И очень скоро реальность недавнего видения стала так очевидна, что он принялся осматривать снег, вполне уверенный, что найдет отпечатки узких туфель и высоких каблуков. Но ничего этого не оказалось. Наступил момент растерянного удивления. Она была тут, я с ней говорил. Да. О чем? Почему она сказала, что Акима здесь нет. И вот тут Саввин вспомнил о нем. Аким сидел по другую сторону костра. В его спокойствии была такая углубленность и значительность, что Саввин не осмелился нарушить тишину обыкновенными человеческими словами. Он встал, и приближаясь к Акиму уже знал, что случилось нечто, имеющее прямое отношение к недавним видениям. Подойдя совсем-близко, он наклонился и увидел, что Аким мертв. Это Саввина не удивило: он воспринял смерть как новое свидетельство тому, что о н а была здесь. Именно в те минуты, когда из жизни уходил Аким.

Да, да, чуть не вслух подумал Саввин, это так. Но что она еще сказала? Она прощалась и с ним. Это его поразило, он торопливо вернулся на свое место и, как бы ища защиты, сел совсем близко к огню.

4

Нехотя, с трудом уходила ночь. Вяло рассеивалась темнота, и в наступающем утре бледнели языки пламени и медленно взлетали искры. Саввину казалось, что эти маленькие мысли и наблюдения наполняли все его существо, что вне этого — ничего нет. И вместе с тем он чувствовал, что все происходящее сейчас имеет определенное отношение к той, которая приходила ночью, в ту минуту, когда умирал Аким.

Акима уже нет, сказала она. Думая о костре и искрах, Саввин понял, что эти мысли об умирании огня относятся непосредственно к нему, к ее словам о том, что она пришла прощаться.

Ему вспомнились слышанные когда-то слова о видениях, галлюцинациях, посещающих людей в страшные мгновения жизни, и раскрывающих будущее. Ему вспомнились рассказы о пророческих снах и о том, что все это происходило с людьми, уже как-то стоящими вне обычной жизни или находящимися на грани безумия.

Да, да, все это так, говорил себе Саввин. Но это — не то. Я живу, я обыкновенный солдат, я хочу жить, и это был просто сон. Ведь и раньше я видел Галину... Аким... ну, что же, он уже умирал несколько дней, умирал идучи, сам нес свою смерть, этот сильный и мужественный сибирский охотник. Его смерть совпала с моим сновидением. В этом нет ничего странного.

Так пытался уверить себя Саввин. Но за этим успокоением нарастала еще большая тревога, еще большая уверенность, что и ему уже вынесен приговор.

Ночное видение — сон, галлюцинация. Но этими простыми, все объясняющими словами нельзя было прикрыть какую-то другую правду, о которой могло быть сказано только так, как было сказано. Поняв это, Саввин оглянулся: прижавшись к дереву сидел холодный Аким, уже освобожденный от необходимости нести тяжесть сознаваемой смерти, уже ушедший из-под ее власти.

Он всматривался в лицо Акима и ему хотелось разгадать его последние мысли, хотелось спросить, видел ли он ее, медленно приближающуюся к костру. Но мертвое лицо было совсем безответно. Легкий налет изморози лежал на щеках и на ресницах, и Саввину вспомнились глаза Акима, темноголубые, блестящие и зоркие.

«Аким ушел», — повторил он чужие слова, и сразу почувствовал, что они освободили его от необходимости оставаться здесь, сидеть у костра, думать обо всем этом, таком странном, так не похожем на все то, чем он живет сегодня.

Вот я и один, я могу идти, ничто меня не связывает, я еще буду жить... Я еще хочу жить, с тоской подумал он несколько спустя, пытаясь окончательно освободиться от власти ночных слов. Я еще хочу жить!

5

Он стал совсем свободен и одинок. Ничто уже не могло его задержать. Он мог двигаться, куда хотел, мог останавливаться по своему желанию. Подумав об этом, Саввин даже обрадовался, что теперь он сам все будет решать, его воля не обязана считаться с чужим желанием. Но радость была кратковременной. Очень быстро он вспомнил Акима... все вспомнил, и душа его протестующе застонала. Неужели смерть Акима явилась облегчением ему, Саввину? Если это так, стало быть в тайниках его души уже давно не высказанным лежало подлое желание освободиться от этого охотника, покорно несшего страдания своего развороченного живого человеческого тела.

Гримасой внутренней боли ответило лицо Саввина на эти дикие в своей вероятности мысли. Как бы оправдываясь перед кем-то, имеющим право судить, Саввин угрюмо качнул головой. Нет же, говорил он себе, Боже мой, нет! Я хочу, чтобы Аким жил. Я здоров и крепок, я буду нести его на плечах, я готов жизнью заплатить за то, чтобы вернуть этого человека его старому, никогда не виденному, неизвестному мне отцу.

В горечи невылившихся слез была глубокая, тихая радость. Никогда и никого, казалось, не любил Саввин так, как этого, уже умершего, уже ушедшего человека. Чьей-то волей были они поставлены вместе, и подчиненные не известным им велениям они должны были войти в этот северный лес и остановиться вот у этого костра. Приняв эту непреложность, Саввин еще раз подошел к Акиму и взглянул в его лицо, спокойное в своем мертвом равнодушии.

Когда все это кончится, я разыщу отца Акима, расскажу ему и спрошу, чувствовал ли он смерть сына? Подумав об этом, Саввин тут же с тоской понял, что этого никогда не случится, что он сам пытается себя и обмануть и утешить.

Костер уже давно погас, и мороз настойчиво напомнил, что какое-то решение надо принять. Воля к жизни, таившаяся в еще пульсирующей крови, подсказала решение: двигаться, настойчиво стремиться к чему-то далекому, пусть даже недостижимому.

А как же Аким? Саввин оглянулся и после некоторого колебания признал, что вырыть могилу, похоронить Акима он не сможет. Закинув винтовку за спину, глубоко вздохнув, Саввин очень серьезно и громко сказал:

— Все, Аким... прощай!

И медленно направился в лес, думая о том, что теперь он уже окончательно одинок. Это не был испуг. Саввин не боялся севера, леса, одиночества. Нет. И вместе с тем, он как-то равнодушно думал, что, может быть, его движение уже не нужно, что лучше всего покориться, сесть и навсегда уснуть.

К этим своим мыслям он прислушивался, как к чужим, не ему принадлежащим. И только когда осознал, что это его собственные мысли, они поразили его и вызвали удивительно отчетливое представление о еще не прожитых, будущих днях, наполненных сверканием солнца и прозрачным воздухом.

Тут он вспомнил о двух спичках и патроне в кармане Акима. Вернуться и взять? Рукой влезть в карман умершего? Он убеждал себя, что это не мародерство. Конечно нет, наконец решил он, ведь и сам Аким сказал их взять, говоря, что они ему уже не нужны.

Саввин, по своим следам, вернулся к потухшему костру. Быстро, как бы боясь, что кто-либо подсмотрит, он взял спички и патрон. Потом долго и пристально смотрел в холодное лицо Акима, как бы беззвучно давая торжественную, все объясняющую клятву.

6

Саввин рассчитывал, что две спички и один патрон — это три костра. Между ними большое время, длинная дорога, а где-то в промежутке он сумеет достичь того, к чему стремится. Когда это случится, он не мог предвидеть. Возможно, это произойдет после первого костра, если же нет — впереди второй... третий. Во всяком случае запас отпущенных ему часов значителен. Всячески оберегая от растраты будущее, он таил надежду, что мороз может неожиданно ослабеть и тогда отдохнуть удастся и без огня.

Но расчеты не оправдались. Уже не было спичек, уже остался только патрон, и приближалась ночь, навстречу которой, казалось, стремительно несся обжигающий холод.

Саввин взглянул сквозь верхушки деревьев. Над ними распласталось черное небо, усыпанное яркими звездами. Здесь, на севере, в мороз, они казались острыми. Потому ли, что Сав-

вин дрожал мелкой дрожью, потому ли, что сказывалась тяжелая усталость, но ему чудилось, что звезды сжимаются и разжимаются, выбрасывая в сторону тонкие заостренные и сверкающие стрелы.

Саввину стало казаться, что за все время его скитаний мороз еще ни разу не был так жесток. Подумав об этом, он почувствовал, что его коленные чашечки стали деревянными. Ему даже послышалось сухое трение, как будто кости были плохо пригнаны друг к другу и ничем не смазаны. Несколько позже пришла тупая боль выше бровей. Постепенно усиливаясь, создавалось ощущение обруча, все туже и туже стягиваемого на голове. Было спасение в быстром ходе, в беге, но к этому Саввин уже не был способен. Он мог еще двигаться, но медленным, разбитым шагом сильного человека, уже много дней бредущего без отдыха, без сна и без цели.

Нужен огонь, нужно тепло, чтобы пересидеть эту ночь; необходим костер, которым можно отгородиться от холодной смерти. Костер нужно создать. Но для этого надо израсходовать последнюю возможность добыть огонь — патрон.

Сразу и легко решиться на это Саввин не мог. Если бы была уверенность, что завтра ... ну, тогда все очень просто. Но этой уверенности уже не было, хотя некоторое время он и пытался себя обманывать.

Огонь. Он вспомнил и в душе улыбнулся попытке добыть огонь трением палки о палку. Это было много дней назад, еще при Акиме. Вот тогда-то они убедились, что то, что в другом месте, в другое время легко можно сделать, то здесь, у края земли, расцвеченного северным сиянием, невозможно. Быстро поняв это, они бросили детскую затею, тем более охотно, что у них тогда был еще громадный запас спичек. Вспоминая об этом, Саввин представил себе эту коробку, в которой и на самом деле было много спичек. Сколько? Много, очень много, во всяком случае больше десяти. И Саввину почему-то захотелось установить, сколько тогда у них было этих сухих, тоненьких палочек с темными головками. Он начал вспоминать, перечислять все костры, у которых они сидели. Шестой костер был очень неудачен: над ним возились, он тлел, и брошенные сучья не хотели разгораться. Тогда, кажется, Аким сказал:

— Он — вот как я: тлеет и не умирает...

У этого костра было неуютно. Холодно? Нет, не совсем, но как-то неуютно. Вот и сейчас, тоже не холодно, но ... и тут

Саввин поднял веки и увидел, что он стоит, прислонившись к сосне и дремлет. В проясняющееся сознание с трудом, лениво вошла мысль, что мороз сдал, что очень и очень потеплело и хорошо было бы лечь и уснуть. Сама мысль была привлекательна, осуществление ее освобождало от необходимости идти куда-то, вновь переживать пережитое. Саввин сделал было уже движение, чтобы пригнуться и лечь, как вдруг яркой, горячей волной по всему еще живому телу разлилось сознание, что он замерзает. Где родилось это сознание, откуда оно пришло, Саввин не знал, но каждой клеткой своего тела он встрепенулся в гневном протесте против смерти, ласково согревающей его своим холодным объятием.

Он не сказал ни слова, но весь он кричал, взывал к жизни, уже отошедшей в сторону, но все чего-то ждущей. И жизнь услышала этот вопль и, услышав, сжалилась и медленно двинулась к одинокому, брошенному человеку.

Саввин с трудом распрямился, и ему показалось, что на плечах его лежит неимоверный груз, готовый раздробить кости и переломить позвонки. Быстро сделав несколько шагов, он сразу почувствовал облегчение, какое появляется у человека, избежавшего большой опасности. Это было вызвано тем, что резкое движение толкнуло начавшую было стынуть кровь и Саввин почувствовал себя спасенным. Чтобы еще больше усилить кровообращение и придать пальцам подвижность, необходимую при разведении костра, он снял меховые перчатки и стал настойчиво растирать руки снегом. Это оказалось делом не легким, но все-таки скоро к пальцам подошла горячая кровь.

Тогда Саввин вынул патрон и он поразил его своей легкостью. В темноте патрон нельзя было рассмотреть, но Саввин угадывал хорошо знакомые очертания, в то же время с детской наивностью удивляясь тайнам, спрятанным в этой миниатюрной, тщательно сделанной вещице.

Первое возбуждение, теплота и неожиданно вернувшаяся энергия были кратковременными. Очень скоро Саввин вновь ощутил идущую откуда-то изнутри дрожь и все возрастающую боль в висках. Мороз сгущал кровь; значение этого было понятным, как приговор. Инстинктивно желая избежать его, Саввин торопливо начал вырывать куски ваты из подкладки своей меховой куртки.

Саввин отлично знал, как выстрелом добыть огонь. Жизнь успела дать ему громадный опыт, но сегодня положение было

исключительное: огонь хранился только в одном единственном патроне, который мог упасть в глубокий снег и потеряться, порох из которого легко рассыпать. Напряженно думая обо всех этих случайностях, Саввин осторожно расшатал пулю, вынул ее и отсыпал излишки пороха. Заткнув патрон мягким жгутом, остатки пороха он перемешал с ватой, и когда все было приготовлено, почувствовал болезненное сердцебиение, как будто без отдыха взбирался куда-то очень высоко и очень долго.

Наконец, Саввин выстрелил. Упавший невдалеке тлеющий жгут дал огонь.

7

Уже давно бледный северный день ослабил блеск пламени, но Саввин продолжал сидеть у костра. Он отдохнул, он мог уже идти, ну, вот, я и пойду, говорил он себе и не вставал с места. Рассудок и инстинкт боролись. Первый требовал движения, второй упрямо цеплялся за последний огонь. Когда побеждал рассудок, Саввин глазами инстинкта видел себя обреченно идущим по бесконечному северу. И пораженный этим видением, он поднимался, бросал громадные, узловатые сучья в костер и вновь садился. Под влиянием этой же картины он развязал свой вещевой мешок и пересчитал запасы. Были еще сухари, были консервированные мясные таблетки. Прикинув, Саввин решил, что всего этого может хватить на четыре дня, даже на пять. Даже на восемь, неожиданно решил он, если сидеть на месте.

Так убеждая себя, он укладывал свои запасы в мешок и вдруг обнаружил одну единственную конфетку, простенькую карамельку. Была она из дешевых сортов, рассчитанных на невзыскательных покупателей. И бумажка на ней серенькая, тоже дешевая, но несла она на себе такую яркую, радостную вишенку, что Саввин улыбнулся и, нежно погладив ее, осторожно положил в карман.

Но все же иногда лениво возникали упрекающие мысли, что он боится оставить костер. Это были уже последние попытки рассудка победить инстинкт. Они ни к чему не привели: Саввин поднялся и начал запасать топливо на ночь.

8

Утром он решил идти. Это решение возникло сразу, и он ему безропотно подчинился, как чему-то безусловному и окончательному, против чего уже нельзя возражать. Правда, было мгновение, когда Саввин вспомнил патрон, свои вчерашние, трусливые мысли, вызванные обжигающим морозом и неразгибающимися пальцами. С тех пор прошло немногим более суток, а между тем ему казалось, что все это было очень и очень давно. Сознание, что все это случилось только двадцать четыре часа назад, потрясло его до непонятного ужаса.

С этим ощущением кошмара он тронулся в путь. Когда пылающие сучья были позади, ему почему-то припомнился Аким, оставленный где-то далеко отсюда; он совершенно отчетливо представил себе тот, давно потухший костер, теперь ставший на торжественно белом снегу грязным пятном.

И этот костер потухнет. Когда? Через час, может быть через два. Во всяком случае, думал Саввин, угли тлеть будут еще долго, так много накопилось горячей золы за то время, пока сидел он здесь. Но и зола остынет и угли погаснут, говорил себе Саввин, и у меня уже ничего нет.

Он шел долго, временами останавливался, чтобы передохнуть. Но остановки эти были коротки. Приближающийся вечер нес с собой холод, и были моменты, когда Саввин жалел, что он покинул костер. Однажды, широко глотнув обжигающий воздух, он решил вернуться к костру. Не сделал он этого потому, что простой подсчет времени откровенно показал давно потухшие, холодные, подернутые серым налетом угли.

Были минуты, когда он двигался машинально, тупо переставляя ноги, все время чувствуя режущую боль сердца. Но он был еще настолько силен, что мог управлять своими действиями и поступками. Он старался согреться, тёр колени и лоб рукавицами, двигал плечами, стараясь заставить кровь дать тепло уже стынувшим венам.

Несколько раз он ловил себя на том, что дремлет на ходу. Один раз он даже прислонился к дереву как будто для того, чтобы отдохнуть, но тотчас понял, что сковывающий его мороз становится сильнее его воли к жизни. Это его испугало, заставило отшатнуться от сосны и идти вперед. Через некоторое время он споткнулся и упал, с трудом поднявшись. Потом, то-

же упав, он уже не захотел вставать, к тому же поза была очень удобной для отдыха и снег показался теплым.

Чем бы все это закончилось — неизвестно, но перед тем как заснуть, он вдруг подумал о том, что вокруг него глухая, темная ночь. Это его искренне удивило. Приподнявшись в недоумении, он пытался понять, как он не заметил наступления ночи. Он старался вспомнить все, и почти все он представил себе совершенно отчетливо и ясно, но были какие-то куски времени, часы или минуты, которые выпадали из сознания и не могли быть восстановлены в памяти. И вдруг что-то теплое, нежное скользнуло по его душе. Да, да, шептал он, и никак не мог понять, к чему относится это д а.

Только несколько позже он машинально опустил руку в карман куртки и нащупал эту простую, дешевую карамельку. Он держал ее в руке и не видел. И ему почему-то очень хотелось посмотреть на этот незатейливый, яркий рисунок.

Я ничего не могу видеть, подумал Саввин, потому что уже глубокая ночь. И он поднял свою руку к глазам и поразился, что он вообще ничего не видит, ни силуэтов сосен, ни своей руки, ни даже дрожащих звезд.

Что такое, недоумевал он, подняв лицо к небу. И вдруг, сделав громадное усилие, он открыл глаза, и над ним оказалось далекое небо. Небо, звезды, вот и сосны, говорил он себе, опять начиная закрывать глаза. В момент, когда Саввин был уже на грани сна, ему почудился какой-то отсвет, немного влево от него. Удивленный этим, он начал всматриваться. Светлая, широкая, слегка колеблющаяся полоса стояла над лесом, и где-то в воздухе, очень высоко, повторялась как в старом тусклом зеркале. Потом Саввину почудились какие-то знакомые звуки.

Эти глухие звуки ударов, без всякого усилия со стороны Саввина, постепенно стали приобретать вполне реальные формы, имеющие размер, цвет и запах. И завершением этого перевоплощения звуков в действительность, хоть и отодвинутую куда-то в даль, явились грозные картины фронта. И странно, они его не угнетали. Наоборот, почти физическое ощущение движения, огня пожаров, рева моторов и, главное, угадываемое присутствие людей сразу освободило Саввина от дремоты. Поднявшись, он почувствовал себя нужным всему этому, и направился в сторону чуть слышной орудийной канонады.

Он шел, торопился и с постепенно нарастающим отчаянием

замечал, что светлая полоса не приближается и звуки не усиливаются. Думая над этим, он понял, что идти ему еще очень далеко. Он серьезно и сосредоточенно подсчитывал те длинные версты, которые могут отделять его от источника этих звуков, от зарева, от людей и приходил к убеждению, что он их никогда не достигнет. И хотя тупое отчаяние начало охватывать его, он все же шел, спешил. Когда же наступило утро, светлая полоса исчезла без следа, как будто чья-то громадной силы рука единым движением стерла ее. Небо стало равнодушно немым и скучно-серым.

Потеряв направление, лишившись жуткого ночного ориентира, созданного огнем пожаров, Саввин как-то сразу ослабел. Он еще двигался, но если бы его теперь спросили, куда и зачем он идет, он не смог бы ответить. В те же минуты, когда он садился отдыхать, его охватывали странные мысли и видения. Под вечер, прислонившись к сосне, он обвел глазами лес и вдруг очень легко и просто подумал, что он умрет, замерзнет в этом нетронутом лесу только потому, что у него нет еще одного патрона.

Глядя на сосны, уже в полузабытьи, он видел громадные стволы, в себе потенциально-несущие тепло, способное вернуть человеку жизнь, дать ему возможность чувствовать, страдать и двигаться. Сам не заметив этого, он начал бредить полыхающим пламенем старых каминов, уютным потрескиванием поленьев в широких печах старосветских помещиков, каких могла создать только Русь. Уже бессмысленно рассматривая сухой излом ветки, он думал, что видит тонкую струю дыма, медленно поднимающуюся в недвижном воздухе.

В чередовании бреда и яви прошел день, и только наступившая темнота несколько прояснила рассудок Саввина. Вновь увидев яркий отсвет зарева в небе, как-то неожиданно близко услышав взрывы, он опять заволновался запоздалым желанием жить. Но это стремление Саввина было уже просто бледной тенью стремления. Он уже не мог идти. Он полз, уродливо изгибаясь, волоча отмерзшие ноги и смешно подпираясь руками. Иногда он пытался встать, но ноги отказывались служить и он падал, и опять волочился, оставляя на ровном, торжественно чистом снегу странный след, какой только может оставить ползущий, безногий человек.

Раньше, будучи сильным и здоровым, Саввин не уклонялся от смерти. Но вместе с тем инстинкт жизни в нем был так ве-

лик, что даже сама мысль о возможном прекращении движения не посещала его. Потому, видимо, он всегда ощущал свое физическое я неотрывно от всего, что происходит вокруг, считая все, совершающееся в мире так или иначе соприкасающимся с ним, всегда осязал себя участником того вечного торжества, которое называется живой жизнью. Будь это блеск зарницы, благоухание цветов, радость трепетного объятия или тонкое наслаждение музыкой слов, все мельчайшее, что в чудесном своем слиянии создает полнокровие бытия, было всегда близко Саввину и являлось его сущностью.

Все, случившееся за эти последние дни, сломило его физически. Он уже перестал быть тем, кем он был недавно. Он стал уродливой, своей собственной тенью, и его счастье было в том, что он уже не мог сам себя видеть.

Его лицо одеревенело. Однажды он захотел открыть рот. Была ли это потребность крикнуть, позвать помощь, или просто являлось желанием глубоко вздохнуть, но открыть рот он не смог. Страшное значение этого уже не встревожило его угасающее сознание.

Единственно живым, казалось, оставались голова и руки, которые от трудных усилий подтягивать тело продолжали хранить тепло. Он полз. Но этого запаса энергии не могло хватить надолго. В какой-то момент он прижался к снегу и сразу, как тогда, когда умирал Аким, увидел ее, медленно приближающуюся. И опять шуршал шелк, и глаза ее глядели с тоской и любовью.

«Ты вернулась?» — спросил Саввин.

«Да, вот видишь, я здесь. Я никуда не уходила, я сказала, что все эти дни я буду с тобой...»

«Какие дни? Ах, да...»

«Только эти...» — ответила она, и Саввину почудилось тихое, печальное пение и откуда-то пришел еле уловимый запах только что потушенных свечей.

Это ощущение запаха свечей вернуло Саввина к сознанию. Широко открыв глаза, он почувствовал все нарастающий запах дыма и, наконец, услышал веселый, такой знакомый треск костра. С трудом, последними усилиями воли он заставил себя ползти дальше, продолжив ломанную линию своего движения по снегу.

Когда он приблизился настолько, что среди деревьев увидел

огонь, он по-детски радостно вздохнул и в глазах его отразилась молитва.

Там был огонь. У огня была жизнь. И он еще имеет право на эту жизнь. Видит Бог, право это добыто страшной ценой ужасов, беспрерывных кошмаров, боли и страданий. Бог видит, как умер Аким, этот хороший сибирский охотник, неизвестно зачем истекший кровью здесь, на краю света. Вот я буду жить, думал Саввин, я расскажу обо всем этом и пусть в церквах помолятся о душе Акима.

9

Когда костер был совсем близко, Саввин уже ничего не мог видеть, кроме блеска огня. Нахлынувшие мысли нагромождались бесформенно, и Саввин, потрясенный всем происшедшим, не пытался разобраться в них. Может быть, в этом было виновато пламя, весело скользившее по сучьям и привлекшее все его внимание. Может быть, легкий треск горящего дерева воскрешал прошлые видения, заслоняющие действительность и мешающие рассмотреть то, что окружает его.

Радостно взволнованный, наполненный любовью к костру и безграничным доверием к людям, находящимся у огня, он забыл о своих обмороженных ногах и обо всех, теперь уже прошлых страданиях. Безотчетно стремясь дать выход своим чувствам, он нестерпимо захотел крикнуть что-то очень и очень громкое. Это было вполне естественное желание уже умирающего, обреченного человека заявить о своем праве на жизнь.

Но крик не получился. Саввин не смог разжать челюсти, и со скорбным удивлением услышал какой-то жалкий писк, быстро заглохший в гортани, где-то около воротника гимнастерки.. Радостное возбуждение сразу погасло и единственное, что еще продолжало жить в нем, было инстинктивное стремление к огню.

Уже не отдавая себе отчета в своих поступках, он долго и беспомощно копошился в снегу, тщетно пытаясь встать. Наконец, с трудом поднявшись, он некоторое время бессильно пошатывался, ища равновесие. Потом, протянув руки к костру, он двинулся вперед.

Как ни медленно было его движение, он все же приблизился к огню. Он ощутил легкую волну тепла и в этот момент

некоторые из сидящих у костра вскочили. Один из них что-то пронзительно крикнул, но Саввин или не понял чужих слов или ничего не расслышал. Все так же странно пошатываясь, он продолжал переставлять отмерзшие ноги, зачарованно глядя на блеск и игру пламени.

Он ничего не видел. Он даже не заметил, что тот, кричавший, быстро вскинул к плечу винтовку и вновь ее опустил.

Были уже сумерки, и глаз Саввина с удивительной отчетливостью, несколько в стороне от костра, отметил маленькую вспышку огня, но звука выстрела он уже не расслышал. Не ощутил он и боли. Сразу упав, он остался лежать на снегу со слегка протянутыми руками и немного поджатой правой ногой.

Со стороны казалось, что он собирается встать и вновь идти к своему последнему огню...

Серка

1

Иван Кожемяка долго не мог привыкнуть к пустому левому рукаву. Казалось бы, чего проще: нет руки, и все. Так-то оно так, а вот стоит Кожемяка у окна деревенской школы, превращенной в госпиталь, смотрит в степь и видит все старое и хорошее: весна, травка начинает зеленеть; кусочком подхваченной ветром бумажки порхает бабочка... Прежнее и знакомое... Так было и раньше... и тут взглянет Кожемяка на ненужный, пустой рукав и покачает головой...

Потом идет к соседу по койке, к дружку, и хоть знает, что тому суждено умереть, но не может удержаться и в какой раз начнет рассказывать: вот, дескать, нету руки, а какая рука была!

— Эка жалость, — вздохнет Иван Кожемяка, — ведь вот какая рука была... А теперь, брат, куда я одноручный пойду? Дома-то у меня трое мальцов, да жена, да бабка на печи осталась... Руки у меня, брат, право-слово, золотые были...

Дружок лежит и слушает. У него большие серые глаза и крестьянское лицо. И хоть в глазах его боль и сознание, что зря ему в третий раз режут ногу, что не удастся обогнать антонов огонь, а все же поднимает он руку с крепкими пальцами и утешает Кожемяку:

— Погоди вздыхать-то, земляк... война... А как оно закончится, по-другому все пойдет... Ты, земляк, не сомневайся. Уж я знаю...

— Давай Бог! И я так думаю. Не может быть, чтобы зазря мужик голову ложил да без рук-ног оставался...

И вот так, от окна к дружку, ходил Иван Кожемяка и все думал о своей руке. А когда унесли дружка на последнюю операцию и уже больше не увидел его Иван, тяжело ему стало сидеть в комнате и он все дни проводил во дворе.

Как-то сидел Иван Кожемяка на крылечке школы, высматривал жаворонков и удивлялся. Скажи пожалуйста, думал Иван, опять прилетели и поют, а у меня нету левой руки. И дружка моего уже нету.

Увидев санитара, хотел было Иван рассказать ему обо всех своих мыслях, но не успел: санитар вытащил бумажку из кармана и спросил:

— А имеется тут такой Иван Кожемяка?

— Я Иван Кожемяка. Что такое приключилось, товарищ санитар?

Старик-санитар скучно посмотрел на Ивана и равнодушно ответил:

— Ты? Ну так иди на врачебную комиссию. Требуют...

— А чего?

— Чего? Чего? — передразнил старик. — Иди, раз приказываю...

Иван Кожемяка усмехнулся:

— Ишь ты! Вроде бригадира колхозного: приказываю .. Право-слово, бригадир ты колхозный, а не санитар... Ладно уж, пойду... — закончил Иван Кожемяка и застегнул на крючки старую шинель...

2

В полутемном коридоре соседнего крестьянского домика Иван Кожемяка встретил знакомого солдата, обрадовался ему и стал рассказывать, какие на тверских землях вырастают льны:

— Вот, брат, лен —выше пояса... Вот это лен! Выйдешь в поле, а оно цветет, брат, махонькими цветочками, все кругом цветет. Посмотришь, и душа твоя расцветает, а сверху жаворонка песней рассыпается... И вот тоже скажи: жаворон-

ка— она совсем маленькая, а силу, брат, имеет большую, заберется — и не видно... Не видно, говорю тебе, а сверху сыплется и сыплется такое, что и нету слов рассказать...

Иван все говорил и говорил о поле и птице. И чем больше говорил, тем больше хотел высказать этому хорошему солдату, хотелось даже спасибо сказать, что сидит и слушает и часто-часто поддакивает и кивает головой.

В коридор вошла сестра милосердия.

— Иван Кожемяка...

— Есть Иван Кожемяка... Тут я сам и есть Кожемяка, сестрица...

— Идите сюда...

Иван встал и кивнул солдату:

— Ты погоди меня... Я, брат, тебе еще не все рассказал...

Уже идя за сестрой милосердия, Иван еще раз оглянулся и напомнил:

— Так смотри, погоди...

Сестра милосердия открыла дверь.

В комнате, куда вошел Иван Кожемяка, сидел госпитальный врач и еще кто-то незнакомый.

Врач взял какую-то бумагу и прочитал, что солдат Иван Кожемяка, 1899 года рождения, колхозник, потерявший левую руку в бою под Сталинградом, признан инвалидом войны. Иван Кожемяка все это слушал внимательно и, как будто одобряя слова врача, кивал головой.

— Ну, Иван Кожемяка, согласно решению врачебной комиссии вы подлежите выписке из госпиталя...

— Выписке?

— Ну да... Выписке из госпиталя... По чистой, Кожемяка, пойдете домой...

Иван Кожемяка взял документ и почему-то вспомнил сегодняшнее утро, голубое небо и жаворонка. Потом посмотрел на пустой рукав, шевельнул левым, теперь каким-то очень легким, плечом и вышел...

Вернувшись в палату, он уложил свое имущество в старый вещевой мешок, в последний раз посмотрел на койку, где лежал его дружок, и направился в канцелярию. Там ему выдали еще какие-то бумаги, и писарь, пожав ему руку, весело сказал:

— Вот, Кожемяка, дойдешь до станции, сядешь в поезд, а там — и к бабе приедешь... Принимай, скажешь, отвоевался... Ну, бывай здоров, Кожемяка...

До станции было верст пятьдесят. Так как Иван Кожемяка освобождался по чистой и в нем уже никто не нуждался, то ему приказано было идти пешком. Его это не удивило и не испугало. Получив трехдневный паек белыми сухарями, Иван Кожемяка тронулся в путь.

Чем дальше он шел, тем больше поражался и небу, и жаворонкам, и траве. В одном месте он присел отдохнуть и долго слушал, как свистят суслики. Это ему очень понравилось и он подумал, что вот у них, на тверской земле, нету зверюшки, умеющей так славно высвистывать. Потом он склонил голову в ту сторону, где должен был быть фронт. И ухмыльнулся:

— Погнали немца, — немного погодя, беззлобно проговорил Иван. — Ишь ведь куда — до самоёй Волги добрался...

Иван Кожемяка не торопился идти. Да и куда ему было торопиться, однорукому? Он даже с испугом подумал о том дне, когда появится в своем родном селе и надо будет войти в свою избу.

В ближайшем селе Иван Кожемяка заночевал...

3

Опять было утро, и снова тихая степь встретила Ивана Кожемяку солнцем и мягким весенним теплом. Он шел медленно, внимательно озираясь по сторонам, и ему все казалось обыкновенным и простым. Потом он заметил густую пыль. Она была впереди и постепенно приближалась. Сначала не ясные, потом все более и более отчетливые картины прошлого поднимались перед глазами Ивана.

— Люди идут... Господи, Боже мой, — прошептал Иван, — это солдаты идут...

Иван Кожемяка отошел в сторону с дороги и присел на камень. Скоро первые грузовики, наполненные солдатами, поравнялись с Иваном. Грузовики шли медленно, нехотя выво-

рачивая песок разбитой дороги. Потом, минут через тридцать после машин, появились орудия на конной тяге. Тяжело вынося ноги, вскидывая жилистые мокрые шеи, лошади с трудом отрывали копыта от земли.

Кожа, собирающаяся тонкими складками на крупах, кроваво-грязная пена, сваливающаяся с разбитых губ, нервно дрожащие ноги лошадей говорили о таком напряжении, какого Иван Кожемяка не видал. Ему казалось, что еще два-три поворота колеса, и лопнут жилы на ногах лошадей. Он даже хотел крикнуть, чтобы дали отдых коням, но в этот самый миг в ближайшей запряжке как-то неожиданно все запуталось, постромки переплелись и лошади стали кидаться в разные стороны.

Шедшие сбоку ездовые подбежали к батарее. Раздались крики. Звучно захлестали плетки. Но обезумевшие кони уже ничего не чувствовали. Образовался живой клубок, из которого странно вырывались передние копыта или высовывалась голова с белыми, оскаленными зубами. Наконец, над живым клубком поднялась на дыбы серая лошадь, беспомощно помахала в воздухе ослепительно блестящими подковами и спокойно рухнула.

Иван Кожемяка не выдержал, быстро поднялся с камня и побежал к батарее. Когда ездовые выпрягли лошадей и отвели их в сторону, Иван увидел серую лошадку: она лежала, тяжело нося мокрыми боками и уродливо подогнув левую переднюю ногу. Иван хотел-было подойти поближе, но ему пришлось остановиться, чтобы пропустить идущего на рысях всадника. Всадник резко остановился у батареи.

— В чем дело?

— Так что, товарищ лейтенант, серая ногу сломала...

Командир батареи выругался и вытащил пистолет.

— Товарищ лейтенант! — в ужасе закричал Иван Кожемяка, увидев, что командир батареи целится в голову лошади. — Товарищ лейтенант!

В это время раздался выстрел. Лейтенант, опустив пистолет, с удивлением посмотрел на безрукого солдата, и спросил:

— Ты чего?

— Товарищ лейтенант, не надо... отдай мне лошадь...

Командир батареи нерешительно сказал:

— Кажись... поздно...

— Все равно, товарищ лейтенант, отдай...

Лейтенант спешился, наклонился над лошадью и, осмотрев глубокую рану в шее, медленно спрятал пистолет.

Солдаты оттянули серого конька в сторону и батарейные лошади, надрываясь и храпя, потянули орудия дальше...

4

Опять стало пусто в степи. Уже и пыль улеглась, но ничего этого не замечал Иван Кожемяка. Прижимая пучок травы к шее лошади, он пытался остановить кровь. Но кровь сочилась и сочилась и когда пальцы его руки стали липкими, Иван отбросил траву, вытер ладонь о землю и развязал вещевой мешок. Добра в мешке было немного. Первой попалась старая, еще из деревни, грубая холщевая рубаха. Она была в заплатах. Иван внимательно, даже с любопытством рассмотрел ее и, найдя замытые, уже ржавые пятна крови, вздохнул: это были следы крови самого Ивана. Иван аккуратно сложил старую рубаху и втиснул ее в мешок. Затем он взял новую, выданную ему перед выпиской из госпиталя. Она была белая, с красивыми блестящими пуговками, и эти пуговки почему-то напомнили Ивану, как он радовался новой рубахе и мечтал принести ее домой.

Иван разорвал рубаху на полосы и осторожно забинтовал шею лошади. Закончив это, он с удовольствием посмотрел на перевязку и сказал:

— Ну, брат Серка, теперь, надо-быть, все в порядке!..

На звук голоса лошадь скосила глаз.

— Чего смотришь, Серка? — утешал Иван. — Ты не думай, мне, брат, рубахи не жалко... Оно, конечно, рубаха сгодилась бы ребятам. Ну, а раз не вышло — ничего... А старую, брат, нет! Мне ее надо до дому донести и показать Агафье: «Во, Агафьюшка, ты шила руками, нитка в нитку, эту рубаху... Смотри, скажу, Агафьюшка, вот тут кровь моя, видишь — порыжела, а что дырья на ней, это, скажу, Агафьюшка, та самая граната... А рваный рукав теперь можешь отрезать, Агафьюшка, он мне больше не нужен... Раз руки нету, не к чему и рукаву быть...»

Лошадь лежала и слушала, иногда вздыхала и шевелила

ушами, как бы приглашая Ивана рассказывать и дальше. И он говорил обо всем, и детство вспомнил, и отца своего, и хозяйство отцовское. А потом начал говорить о своих детях. У меня, брат, тройка их, говорил Иван. Старший Николка и двое Васильков. Васильки — это двойчата, сказал Иван и рассмеялся. А чтоб не перепутать, одного зовем Васяткой, а другого Васильком, а оба-два, значит, Васильки...

Ивану верилось, что все поняла Серка и теперь думает о тверской деревне и широком льняном поле...

5

Время прошло незаметно, и когда Серка совсем поправилась, Иван Кожемяка глубоко вздохнул:

— Господи, помилуй! А ведь дело идет к осени...

Иван начал подсчитывать: апрель, май, июнь... Вот уже и Петр-Павел минул, уже утиные выводки на крыло стали. Вспомнил Иван свое озеро и заторопился домой.

Старик, на хуторе которого прожил Иван больше трех месяцев, уговаривал:

— Эй, парень, живи пока что... Куда тебе, безрукому?

— Нету, дед, что ты? У меня Агафья дома да трое мальцов... Как же? Хозяин в доме нужен...

— Какой из тебя хозяин? — ухмыльнулся старик.

— Как какой? Я, дед, теперь приду с Серкой... Она хоть и хромает, но ты сам говорил: в хозяйстве сгодится... А мне что? Мне, дедка, не на свадьбы ездить... Я теперь с конем, вроде как отец мой — настоящим хлеборобом буду...

— Ну, смотри... твое дело. Бог тебе в помощь! А только конька твоего у тебя враз в колхоз спишут...

Иван Кожемяка испугался и даже перекрестился:

— Что ты, дед? Да разве ж можно так? Смотри сам: безрукий я есть или нет? Где руку-то истратил? За какой-такой резон жизнь свою отдавал?.. То-то... Значит, я есть инвалид народный, потому на войне пострадал не за самого себя, а за весь мир... Кто же такое право имеет, чтоб Серку у меня забрать?

Старик не стал отговаривать. Готовя Ивана к отъезду, он

насыпал ему почти полмешка сухарей и все же напоследок сказал:

— Оно, по-человечески, так ты, Иван, прав... А все же скажут: ты есть сейчас мужик колхозный и не должно у тебя собственности быть... Нету, скажут, собственности, потому — Серка крупный скот... Вот, скажут, ежели бы ты козу или ягненка привел, ну, тогда...

— Как так нету собственности? — заволновался Иван. — Хотели Серку стрелять? Хотели... Я выпросил Серку? Я... Я свою рубаху новую на бинты извел, я, можно сказать, для ради Серки ночей не спал... Нет, дед, теперь Серка для меня как свое родное, кровное... Я, может, дед, уже сны такие вижу, как приеду с Серкой домой... А мальцы мои-то как будут рады...

Дед завязал мешок, пристроил кусок войлока вместо седла и похлопал Ивана по плечу:

— Прощай, парень... И вот что я тебе скажу, Иван... Эх, Иван... до чего же у тебя душа к земле лежит! Вот, парень, и я такой был... да все не ко времени это, никому это ненужное сейчас... И твоя Серка лишняя... а может быть, Иван, и ты сам теперь такой тоже лишний...

— Чудно ты как-то говоришь, дед! — задумчиво сказал Иван. — Я, дед, понять тебя не могу... Как же может такое статься, чтобы вдруг человек лишним оказался?

6

Уже листья совсем стали желтыми, когда Иван Кожемяка приблизился к тверским землям. Много сотен верст проехал он по обгорелым местам, по диким и брошенным землям, и боялся думать, что вот попадет он к себе и не найдет деревни, не найдет Николку и Васильков, не увидит больше Агафью.

Серка, казалось, чувствовала, что они идут домой. Она двигалась быстрым шагом, слегка припадая на левую ногу. Но когда проходили тревожные и печальные мысли, Иван радовался и прикидывал, что хоть и осталась Серка хромой и со следами некрасиво зажившей раны, но все же будет ладным помощником в хозяйстве.

Чем ближе подъезжал Иван к родным местам, тем чаще и чаще качал головой и хмурился. Когда же миновал Троицкий посад, совсем затосковал Иван и, сделав большой круг, заехал к своему родичу, деду Кузьме. Дед вначале удивился, потом обрадовался, а под конец опечалился, заметив пустой рукав Ивана.

— Каково же тебя... ну, рассказывай, Иван...

— Нет, дед Кузьма, рассказывать буду потом, а ты мне скажи вперед: слыхал ли что о детях и об Агафье?

Дед Кузьма порадовал: деревня почти цела, выгорели только крайние хаты.

— Все в порядке, — утешил дед, — Николке четырнадцатый год пошел, а остальные, ну, те, конечно, еще подлетки и смотрят, как бы в горох какой залезть...

Иван бросился к деду:

— Вот спасибо тебе, дед Кузьма... Вот до чего ты меня обрадовал и облегчил... Я-то мучился, ехал, мучился и думал: попаду на пустое место и бобылем неприкаянным болтаться буду... Вот каково ты меня порадовал, дедка...

Когда бабушка собрала ужинать, дед Кузьма принес бутылку самогонки.

— Ну, Иван, садись... За твое возвращение... и помянем моего Яшу... Под Курском остался мой Яша... Ну, на то Божья воля... А Михайла мой еще жив, может теперь и вернется...

Сердце Ивана билось радостно и он видел перед собой счастье. Такой же радости хотелось пожелать и всем:

— Вернется, дед Кузьма, твой Михайла... Вот как возьмут Берлин, всенепременно будет Михайла дома...

— Дай Бог, Иван, — сказала бабушка, крестясь, — дай Бог... И таково-то тогда заживем... по-настоящему заживем, Иван...

Дед Кузьма уверенно подтвердил:

— Вот как вернется Михайла... конечно, по-новому заживем... Что ж, зря Яша под Курском лег? Зря, что ли, ты руку оставил на Волге? Попустому почти все мужики нашей деревни полегли? Не-е, брат, теперь уж...

— Во-во, дедушка, — ответил Иван, — и ты настоящую правду говоришь. И все так говорят... Вот я с Серкой может по ста деревням проехал, все так говорят.

Понизив голос, как бы передавая важную тайну, Иван зашептал:

— У меня, дедка, когда я еще в госпитале лежал и не совсем привык к тому, что стал одноручный, был такой дружок. Ах, и голова же у него, дедка, какая... Все-то он знал. И вот перед смертью своей говорит мне: «Погоди вздыхать, дескать, Кожемяка, погоди, земляк... война идет... А когда оно, война то есть, затихнет, по-другому все станет... Уж ты верь мне, земляк Кожемяка, не сомневайсь. Я уж все знаю»... Вот что говорил дружок мой... ему, дед Кузьма, можно верить. Да и как не верить, ежели весь народ так говорит...

Иван отвык от крепкого и с первой же рюмки легкий туман ударил ему в голову. После этого захотелось говорить и говорить, радоваться своим словам и другим передавать свою радость. Иван рассказывал и сам себе удивлялся и не понимал, откуда у него такие ласковые слова обо всем.

Старики сидели и слушали, и в диковинку им казалось, что вот обо всем говорит Иван, а молчит о войне, о страхе... Как будто и не ему оторвали руку и как будто не видел он, как падали люди, падали и больше не вставали.

Иван Кожемяка говорил о Днепре, о Волге, о степях и свистящих сусликах. И рассказал, как долго лежал он в госпитале и когда уже безруким впервой вышел на крыльцо избы, то удивился синему небу и невидимому жаворонку, поющему совсем так, как и над льняным полем.

— А потом, дедка, вот плелся я степью к станции... Люди военные шли навстречу... орудия... И смотрю я, дедка, вот сломала ногу Серка и стрелять ее хотят... Господи, думаю, за что же она виновата, и кидаюсь к товарищу лейтенанту, кричу ему, отдай, кричу, мне, безрукому инвалиду, а он уже выстрелил... да не попал в лоб... Ну, ладно, говорит, бери... Оттащили Серку прочь с дороги, бросили мне... Во! Нога сломана, шея прострелена... Три месяца, дедка, днем одним промелькнули... И видишь — Серка... Серка мне и охоту к жизни дала...

Переночевал Иван Кожемяка у деда Кузьмы. Утром, на рассвете, поднялись все. Дед осмотрел Серку, погладил по шее, пощупал криво сросшиеся края раны, потрогал ногу. Серка чуть-чуть шевельнула шерстью.

— Смотри, Иван, — сказал дед Кузьма, — это Серка встрепенулась, дает шерстью знать, что все она вспомнила... Она, брат, все помнит... И что ты ей сделал, тоже помнит...

Как бы понимая слова деда, Серка подняла уши, сделала шаг в сторону и прижалась боком к пустому рукаву Ивана...

7

К заходу солнца Иван Кожемяка поднялся на бугор.

— Стой, Серка!

Иван Кожемяка заплывшими слезой глазами смотрел на деревню. Серка правой передней ногой взбивала песок и просила повод.

— Погоди, Серка... в груди-то у меня как бьется... Ребятишки чьи-то там бегают...

Иван Кожемяка смотрел, и не заметил, как Серка спокойным шагом тронулась вперед.

Только что въехав в родную деревню, Иван увидел стоящего у избы человека и невольно остановился. Вместо лица у него была страшная, кровавокрасная маска с одним-единственным глазом и изуродованными, свернутыми на бок губами.

— Кожемяка! Иван!

Иван пристально вглядывался в лицо незнакомому человеку и, наконец, спросил:

— А ты чей?

— Да я ж... сосед твой... Не признаешь, Иван? Я ведь Васильев Петр...

Иван соскочил с Серки и бросился к Петру.

— Петя! Господи, Боже мой... тебя-то как изуродовали...

Губы Петра жутко расползлись и он, видимо, зная об этом, торопливо прикрыл рукой свою улыбку.

— Да и тебя, Иван, не помиловали...

Из избы вышла с ребенком на руках Вера, жена Васильева, и ахнула. Потом передала крохотную девочку своему мужу и обняла Ивана.

— Ваня, Агафья-то сегодня тебя поминала, сон, говорит, видела, будто ты лежишь где-то брошенный... Ну, я побегу в поле, скажу Агафье и ребятам... вот-то радости им будет...

Иван Кожемяка стоял и разговаривал с Петром и почему-то не мог оторвать взгляда от страшной маски соседа, к которой прижалось бледненькое, сияющее радостью личико девочки. Тонкие руки ребенка с любовью обнимали шею отца и пальчики ее нежно гладили уродливые бугры кровавой маски...

8

Дети так полюбили Серку, что сам Иван искренне удивлялся:

— Скажи на-милость: откуда у них такое? Вроде и коня своего не видели, а тут — хозяева такие. И травы нарвут, и почистят, и на ночное сгоняют...

Правда, в первые же дни председатель колхоза завел было разговор, что Серку надо свести в колхозную конюшню. Но Иван не сдался:

— Что ты мне такое говоришь? Да я Серку от смерти спас, я ее, можно сказать, на ноги поставил, а ты... Нету, никому не отдам...

— Какой же ты колхозник после этого? Устав, чай, для всех писан? Знаешь?

— Знаю... А только Серку я не отдам. В колхозе — я колхозник. А Серку не отдам. Бороновать, возить что надо — буду, все буду делать, а только Серку не трожь...

Председатель попробовал было настаивать, но из этого ничего не получилось. После этого он поехал в район, к партийному начальству. Там, сгоряча, приказали забрать коня, но потом перерешили: оставить Серку за инвалидом отечественной войны. Об этом даже написали официальную бумагу.

Радости Ивана не было конца.

— Видишь, Агафья, я тебе говорил, что все по-новому, по-настоящему пойдет... Оно, брат, верно... И дед Кузьма говорил, и тот, мой дружок по госпиталю, и все так говорят... Уж теперь, Агафьюшка, все по-другому...

И на самом деле жизнь Ивана потекла по-другому. До чего длинен казался ему месяц на фронте, до того быстро и светло промелькнул год в своем доме, с Агафьей, с Николкой и Васильками. Прошлое как-то отодвинулось и многое уже просто забылось. Правда, недоставало руки, и в особенности он

это чувствовал, когда подходил к Серке с правой стороны и хотел похлопать конька по гладкой, лоснящейся спине.

И Серка стала совсем иной. Всегда чистая и веселая, она любила заигрывать с маленькими Кожемяками, а увидев Ивана радостно вскидывала голову.

Обычно, возвращаясь с поля, Иван заезжал в колхозный машинный сарай, распрягал здесь Серку и, хлопнув рукой по ее шее, присвистывал. Серка делала вид, что страшно пугалась и чуть прихрамывая, рысью бежала вдоль улицы. Остановившись около знакомых ворот, она перевешивала голову во двор и звонко ржала. На зов выбегала Агафья , отворяла калитку, и Серка торопилась в полутемный, уютный сарайчик к свеженакошенной, пахнущей воздухом и лугом, траве.

Ивану казалось, что теперь он живет настоящей, человеческой жизнью. Никогда он так не любил Агафью и своих детей, как после возвращения из госпиталя. Думая об этом, он решил, что в семье такая дружба и лад потому, что у них есть Серка.

Когда однажды по какому-то делу нужно было в сельсовете ответить на вопрос о «роде занятий», Иван просто сказал:

— Занятие известное — крестьянствую . . .

Секретарь сельсовета вяло заметил:

— Так . . . значит колхозник . . .

— Погоди, — заторопился Иван, — чего там пишешь? Крестьянствую, потому у меня, брат, конь в доме . . .

Самому Ивану все это казалось таким интересным, что он попытался было рассказать историю Серки, но секретарь равнодушно оборвал:

— Ладно, брось трепаться . . . Следующий!

Ивана это страшно удивило и обидело. Возвращаясь домой, о своей обиде он рассказывал Серке, и Серка неодобрительно встряхивала головой. Но обо всем этом скоро забылось, к тому же подоспел День Победы, который хорошо отпраздновали и в колхозе.

Люди собрались на площади, рядом со школой. Слушали речи и били в ладоши. Иван Кожемяка не мог этого делать и потому хлопал себя по колену. А когда расходились, многие бабы плакали, поминали мужей или сыновей. Соседи зазывали друг друга в гости.

Подойдя к своему двору, Иван увидел Серку. Она стояла у забора и смотрела в поле. Иван погладил мягкие губы лошади и прижался к ее шее.

— Вот, Серка,отпраздновали Победу... И ты, брат Серка, свое сделала для победы, а теперь вот со мной по крестьянству...

На другой день после праздника в поле прибежал Николка.

— Батя, тебя требуют в правление...

— Ничего, сынок, скажи, я бороную... К вечеру буду...

— Не, батя, приказали немедля идти...

Иван Кожемяка оставил в поле Николку и направился в правление колхоза. Встретил его новый партийный секретарь и сразу же стал доказывать, что колхозники не имеют права держать у себя коня. Иван Кожемяка встревожился, торопливо начал рассказывать все: и об окопах под Сталинградом, и о госпитале, и об оторванной руке, и о Серке, которую хотели застрелить. А потом Иван вспомнил, что есть такая бумажка от районного начальства, что военному инвалиду Ивану Кожемяке разрешается держать Серку, но партийный секретарь разозлился:

— Ты думаешь, что раз ты инвалид войны, так тебе все дозволено? Нет, брат, и на вас есть управа!

Тут Иван выложил все разговоры, и с дедом Кузьмой, и с дружком по госпиталю, и со многими людьми от самой Волги до тверских земель...

Секретарь засмеялся и грубо сказал:

— Ты поменьше агитацией занимайся... Прошло то время...

— Какое-такое время прошло? — испуганно спросил Иван.

— Такое самое... Вот мое последнее слово, Кожемяка: даю два дня сроку. Обдумай все и приведи коня на колхозную конюшню...

Ничего не понимая, вышел Иван из правления и направился в поле.

— Иди, Николка, домой...

— Батя, а что говорили в правлении?

— Иди, Николка... я скоро дома буду...

Но до самой темноты не возвращался Иван... Тогда прибежали Николка и оба Василька. Хотели было упрекнуть, почему не ведет Серку на отдых, но застыли в испуге, увидев,

что отец сидит на бороне и тяжело смотрит в землю. Наконец, старший, Николка, подошел и тихо спросил:

— Батя, что?

Иван поднял глаза, каким-то жалостливым взглядом посмотрел на детей и сказал:

— Все, ребятки...

9

В четверг партийный секретарь и председатель колхоза вошли во двор Ивана Кожемяки. На крыльце стояла бледная Агафья.

— Муж дома? — спросил секретарь.

— Дома...

— Пусть выйдет...

— Нет уж... берите... сами...

Как только сказала это Агафья, дети заплакали в полный голос и кинулись к сараю. Прижавшись спинами к дверям сарая, они на все происходящее смотрели со страхом и злобой.

Председатель колхоза оттолкнул детей. Секретарь вывел Серку. Не понимая, почему чужие тянут ее за недоуздок, Серка упиралась, косила глазами и тревожно поднятыми ушами старалась разгадать, почему плачут дети, а хозяйка, раньше дававшая такие сладкие куски хлеба, стоит и равнодушно смотрит.

Председатель колхоза поднял с земли палку и со злобой, вдоль хребта, ударил Серку. Уже забывшая о побоях, Серка начала рваться и в тот момент, когда она пыталась подняться на дыбы, новый жгучий удар заставил ее броситься вперед.

Николка не выдержал и вцепился пальцами в лицо председателя...

Серку увели. Агафья заметила, что на повороте улицы Серка еще раз попыталась вырваться... Потом, уже издали, раздалось призывное ржанье.

Агафья, прислонившись к углу избы, плакала навзрыд, как будто в ее дом пришла большая, неизбывная беда.

Двор стал пуст. За открытой дверью сарайчика, где раньше помещалась Серка, угадывался полумрак, прикрывавший

собой то хорошее, что было у Агафьи. Ей даже показалось, что все недавнее, такое дружное и светлое, было только сном...

На утро приехали и забрали старшего сына, Николку. А еще через несколько дней Иван спокойно надел свою старую солдатскую шинель, застегнулся и, никому не сказав ни слова, вышел и больше домой не вернулся. После этого Агафья перестала работать на колхозном огороде и соседки шептались, что она «тронулась», все время сидит в темном углу и молча смотрит в одну точку.

Почти целыми днями так сидела Агафья. В полдень с птичьей фермы прибегали Васильки, чтобы покормить мать: она ела только тогда, когда ей давали ложку в руки.

Иногда в избу заходил колхозник, ездивший по делу в город. Агафья не поднимала глаз и совсем не интересовалась рассказом, что Ивана Кожемяку, в рваной шинели, грязного и небритого, встречали то у вокзала, то где-нибудь на улице. Видели даже, что Ивану Кожемяке кой-кто из прохожих подавал милостыню.

Рассказав все это, колхозник некоторое время сидел на лавке, как будто ожидая вопросов. Потом, вздохнув, вставал и говорил:

— Прощай, Агафья . . .

И на это не отвечала Агафья. Сидя с опущенной седой головой, она исподлобья, пристально разглядывала какую-то точку в дальнем углу . . .

Каламбай

На крутом берегу Байкала стоял бурят. Он был очень стар и своим спокойным равнодушием походил на изваяние, неожиданное тут, под этим темноголубым сибирским небом. Старик казался памятником прошлому, так он был похож на своих дедов и прадедов.

Здесь, у Байкала, можно сказать и киргизское хабар-бар, и бурят поймет, хотя слово это принадлежит горячим пескам. Бар-хабар, скажет он, да, новости есть. Новости всегда, потому что минута идет за минутой, и не стоит над землей облако, и ветер, раз дунувший в лицо, той же самой струей никогда не скользнет вновь.

Бар-хабар — новости есть. И новости эти не в том, что люди отказались понимать хорошее слово совет. И не в том, что это хорошее слово стало требовать плохие, непонятные налоги и отобрало коней. Новости даже не в том, что застрелили молодого, хорошего джигита Алам Каламбаева и сказали, что он сопротивлялся совету. Это не новости, это старое, это как ржавчина на худом куске брошенного железа. Новости? Хабар-бар? Новости есть, большие и радостные, и они не подчиняются никому.

— Разве ты видел, — спросил старик, — чтобы солнцу приказывали? Иль чтобы кто задержал идущую темноту ночи?

Старик поправил малахай и спрятал морщинистую бронзу рук в обтрепанные рукава древнего халата.

— Вон там, над Верхней Ангарой, совсем ярко горела звезда. Это было вчера. Она давно так не горела, последний раз она была такой, когда — тому уже много лет — вот этот халат

был очень новым, а я молодым . . . почти таким . . . — и старик пристально посмотрел мне в лицо. Потом глаза его внимательно пересчитали патроны в моем патронташе и остановились на штуцере.

— Все ходишь? — спросил бурят.

— Хожу, — ответил я.

— Почему один ходишь? . . У человека должен быть сын... Ты знаешь, что человек без сына? Это как река Сары-су, она идет и идет по пескам, и ты идешь за ней — и день, и два, и три, даже четыре дня ты идешь — и приходишь в место, где реки дальше нет. Была река и не стало реки, и не принесла река свою воду в озеро или море, и ненужно отдала свою воду жадным пескам. И там кончилась . . . Вот и человек без сына проходит по пескам своих дней, а для чего — неизвестно, совсем как Сары-су, которая идет умирать и место свое отмечает скучными зарослями саксаула и тугая . . .

Я хотел было расспросить хорошенько про Сары-су, но бурят поднял свои раскосые маленькие глаза и сказал:

— Вчера ты был здесь?

— Был . . .

— И раньше вчера ты был?

— Был . . .

— Вот я видел тебя, ты все стоишь тут и с обрыва смотришь на Далай-Нор . . .

— Далай-Нор? — не понял я и переспросил: — Далай-Нор?

— Ну, вот смотришь и не знаешь: по-вашему Байкал, по-нашему — Далай-Нор . . . Хороший Далай-Нор, светлый и глубокий . . . Скажи, разве есть где такая хорошая глубокая вода? Ну? Только кажется мне — не может быть . . .

— Почему не может?

— Слушай, — говорит старик, — потому не может быть такого, что вот стою я здесь, а мне надо идти далеко, далеко отсюда, туда, где нет совсем людей и где ничьи глаза не встретят меня . . . Я не хочу больше спрашивать: хабар-бар? И не хочу отвечать: бар . . . Я ничего не хочу . . . У меня был сын. Я старик . . .

Бурят поднял руки, как бы принося клятву. Рукава халата скользнули вниз и открыли тонкую сухую кожу, напоминающую пергамент.

— Мне уже ничего не надо, а я не могу оставить, не могу

бросить Далай-Нор. По-вашему уже май, а смотри кругом, кругом смотри...

Он протянул худую руку, и, подчиняясь ей, я с неожиданной отчетливостью увидел буйную поросль молодой, свежезеленой травы.

— А Далай-Нор еще под крепким льдом, и мне хочется еще раз увидеть его волны. Ты видел волны Далай-Нор? Вот я посмотрю на них еще раз и пойду...

— Один пойдешь?

— Один... Посмотрю на волны и пойду, пойду совсем один, потому что у меня был сын...

— Слушай: разве ты уже был там, где нет людей? И разве есть такое место?

— Я не был. Но место такое есть, совсем старые рассказывают, что есть такое место...

Старик говорил и смотрел мне прямо в глаза. Вначале мне стало холодно, потом почудилось, что старик тихо помешан и, наконец, я увидел перед собой пустые и мертвые глаза. Это меня испугало. Мне даже показалось, что сейчас пропадет весенняя живая трава, исчезнет озеро, еще лежащее подо льдом, и никогда не восстановится недавний, так хорошо начавшийся разговор. Мне захотелось вернуть все к старому, и я спросил:

— Я разговариваю с тобой и не знаю, как тебя зовут.

— Каламбай...

— Каламбай? Это хорошее имя... Скажи, Каламбай, почему ты хочешь уйти отсюда? Разве тебе плохо здесь?

— Вот видишь, — ответил бурят: — это лед Далай-Нор... Внутри у меня все холодное, как этот лед... Вот у тебя есть ружье, смотри, как оно блестит, и как много патронов... Тебе не жаль одного патрона для Каламбая? Не жаль?

— Патрона? Боже мой, конечно, не жаль...

— Так вот, возьми свое ружье и выстрели в Каламбая, выстрели в его холодное, как лед, сердце... Тогда Каламбай будет свободен и ему не надо уходить далеко...

Я отшатнулся; я даже сделал шаг назад.

— Что ты говоришь, Каламбай?

— Возьми, я прошу тебя... тогда мне не надо будет уходить от Далай-Нор...

Где-то внутри началась дрожь. Она росла, быстро охватила

меня, я задрожал и сквозь эту дрожь почувствовал страшную тяжесть штуцера. Губы стали сухими.

— Каламбай, разве можно такое сделать?

— Можно, — ответил старик. — У меня был сын, и если бы он сейчас открыл глаза и живыми словами мог говорить, он сказал бы: можно!

— Почему ты все говоришь: был, был... Почему же ты не взял с собою твоего сына?

Глаза старика сразу и вдруг утонули в тумане слез, а тонкие бронзовые руки протянулись к темноголубому небу:

— Хабар-бар? Бар... у моего сына закрыты глаза и навсегда остановилось сердце... потому что раньше вчера застрелили молодого хорошего джигита...

— Твоего...

— Моего джигита, моего сына... Слушай, Далай-Нор, все слушайте: застрелили джигита Алам Каламбаева...

Певчая печка

1

Не только я — сотни тысяч людей не знали, в какую сторону они должны идти.

И вот в этом небольшом городке вблизи чешской границы я задумался о своей жизни, о прошлом, я даже вспомнил Волгу... А так как родина моя богата громадными реками и сама она очень велика, я не мог даже мыслями обежать ее быстро и размышлял очень долго.

Сколько? Не знаю. Во всяком случае так долго, что за это время ко мне успели подойти американцы и строго спросили о чем-то. А я не понимал их языка и не мог им рассказать,о чем я сейчас думал. Их, видимо, это и не интересовало. Я их не обвиняю, война еще не совсем закончилась, к тому же я долгое время был солдатом, я участвовал в четырех войнах и знаю, что в такое время особенно не размышляют.

Один из американцев ткнул пальцем в погон и спросил:

— Обер-лейтенант?

И я ответил. Тогда американец вытащил свой пистолет и начал его показывать, что-то объясняя. Я догадался, к чему он ведет речь, кивнул головой, вытащил браунинг и отдал.

Они обрадовались, как дети, дали мне несколько пачек сигарет, и я им сказал единственное известное мне американское слово:

— О-кей.

Они засмеялись и предложили мне много жевательной резинки, но я отказался, очень наглядно показав, что от нее ме-

ня может стошнить. Их это рассмешило, они весело хлопали меня по плечу, а у меня в кармане был другой пистолет, очень хороший парабеллум Но их он уже не интересовал, они повели меня в одну гостиницу.

Я шел, и в груди у меня было холодно при мысли, что та, с которой я уже столько лет шагал по путям моей жизни, не узнает, где я и что со мной. Я проклинал себя, что позволил ей уйти осмотреть окрестности, малодушно поверив, что ей это проще и легче сделать.

«Вот и все, вот и конец», думал я и представлял себе ее испуганные глаза, когда она не найдет меня там, где я должен был находиться. Что она подумает, что сделает?

И вдруг я увидел ее. Она спешила ко мне, лицо ее было искажено ужасом, и тогда я уже знал, что надо делать. Она быстро приближалась, я смотрел ей прямо в глаза, и мои глаза сказали ей что-то нужное. Тогда она остановилась, пропустила нас и медленно шла следом.

Когда я входил в отель-тюрьму, я оглянулся и совсем близко увидел ее. Она скорбно улыбнулась, ее улыбку я знал давно, но в этих, таких знакомых глазах я прочитал суровую, идущую на все решимость. Такими глазами может смотреть только человек, уверенно протягивающий руку для поддержки.

Утром, после очень почему-то долгой ночи, я заметил ее из окна и почувствовал какую-то удивительную собранность. Мне даже показалось, что впервые я ощущаю не жизнь вообще, а жизнь каждого своего нерва.

Она долго говорила с офицером, и тот повел ее в нашу тюрьму-гостиницу, и меня вызвали в коридор на свидание. Стоявший невдалеке часовой равнодушно жевал жвачку, ему было скучно, он оживился только тогда, когда в окне напротив показалась белокурая хорошенькая девичья головка. Тогда он опустил автомат и попытался сделать выразительные глаза, но они стали совсем наивно-смешными, так усердно жевал он свою жвачку. Немочка не замечала американца, весело улыбалась чему-то своему, и американцу прямо-таки скучно было стоять тут. К тому же был конец апреля 1945 года, и падал мокрый, по-весеннему неряшливый снег.

Пальто было очень тонкое, коричневое. И я удивился, как оно смогло уместиться в дамской сумке. «Скорей!» — сказал ли кто, или это была мелькнувшая мысль, но я очень быстро

вдвинулся в амбразуру окна, снял шинель, и вместо нее надел это легкое штатское пальто. Оно было такое тонкое, что на плечах под пальто очень отчетливо вырисовались погоны мундира. Но рассуждать не было времени, нужно было спешить. Я застегнул пальто на все пуговицы и с ужасом увидел, что пальто короткое, и из-под него прямо-таки нахально вылезали прекрасные, еще сохранившие блеск, офицерские сапоги.

Вдобавок, я очень отчетливо чувствовал вес парабеллума.

Американец рассматривал хорошенькую немочку. Мы несколько раз прошлись по коридору, моя спутница что-то оживленно говорила мне по-английски, а я, подходя к часовому, совсем шикарно восклицал:

— О-кей!

Потом я вынул одну из тех пачек сигарет, и она взяла у меня сигарету, и мы остановились около часового. Я начал искать в карманах спички, их у меня не было, не должно было быть, и тогда мы подошли вплотную к часовому. Она спросила у меня что-то по-английски. Я догадался: насчет спичек. И я великолепно каркнул:

— Ноу . . .

Тогда она обратилась к часовому. Тот, глядя одним глазом в окно напротив, вытащил зажигалку. Мы прикурили. Но мне очень тяжело было смотреть на малеькую женскую руку: так она по-детски жалко вздрагивала, как будто сигарета была ей не по силам.

Я первый и очень решительно сказал:

— Тсенк ю.

И, слегка отодвинув часового в сторону, мы сделали четыре шага по ступенькам и остановились на площадке выхода. И тут я увидел ее бледное лицо и неразгоревшуюся сигарету.

— О-кей! — сказал я. И она поняла, взяла меня под руку, и мы медленно пошли, не оглядываясь. Я не смотрел вниз, но я чувствовал предательский блеск сапог.

2

Уже наступила ночь. Мы прошли несколько верст по слякоти, усталость увеличивалась сыростью, надо было найти приют хотя бы на эту ночь.

Куда мы ни заходили, всюду нам отказывали. Мы забирались на горы, в одинокий хутор, и там нам говорили: «нет». И мы вновь спускались вниз, шли по лесу, думали о том, что надо где-то хотя бы у дерева пристроиться и сидеть, прижавшись друг к другу, до утра. И ждать, как будто бы утро могло все разрешить.

Но с деревьев падали крупные, холодные капли. Ветер носился по верхушкам сосен и посвистывал. Я люблю такую погоду, я мог бы даже с удовольствием вот так сидеть и слушать эти лесные шорохи. И вспоминать охотничьи ночи на озере Селигер. Палатку, разбитую у воды, костер, моего костромича Каниса, шерсть которого при блеске огня казалась отшлифованной и очень уютной. Там была палатка, и вой ветра звучал древней песней, а шум набегающих волн был мягким аккомпанементом.

Но здесь было другое. Здесь была она, от пережитого сразу обессилевшая и уже не могущая двигаться.

Был момент, когда я хотел вынуть парабеллум, войти в одинокий горный хутор и приказать дать приют женщине. Но она тихо заплакала и умоляла не делать этого, идти, пока есть силы, дальше. Идти в темноту леса, по неизвестной дороге.

И мы шли. Вдруг в стороне, на обочине, случайно заметили из досок сбитый сарайчик: в таких летом хранятся инструменты рабочих, чинящих дороги. Я подошел. Сарай был без окон, он был закрыт на замок. На крепкий замок, а у меня не было ни ножа, ни топора, ничего, чем можно было бы сделать вход.

Я стоял и слушал. Мне нужен был сильный ветер, нужна была прямо-таки буря, которая смогла бы заглушить все звуки. И постепенно я убедил себя, что шум леса очень силен, к тому же идет дождь. Тогда я вынул пистолет, расстрелял этот замок и открыл дверь.

3

Утром я пошел один. Вдали я увидел древний, полуразвалившийся замок и в стороне от него, на одинокой скале, стоял большой крест.

Я пошел туда, к замку и кресту. Около них приютились

шесть-семь домов баварских крестьян. Да, они пустили бы меня, они бы это сделали с удовольствием, даже денег за это не взяли бы они, эти баварские крестьяне. Они не расспрашивали меня, кто я и почему я ищу приют в баварском лесу. Они угадывали кое-что, они даже старались не смотреть на мои сапоги, до того были они симпатичны, эти крестьяне. И все же они не могли дать мне приют. Как бы оправдываясь, они подвели меня к только что, два дня назад, расклеенному приказу, напечатанному по-немецки и по-английски.

Я их понял, этих крестьян. Я попрощался, я сказал им спасибо за все, я сказал, что пойду назад к той, оставленной в лесу, бьющейся в ознобе. И тогда я услышал:

— Халло!

Я вернулся. Мне указали на взгорье стоящую крохотную избушку. Они даже извинились, что там выбито единственное окно и нет никакой печки. Но избушка эта — теперь ничья, и я сам, на свой ответ, могу ее занять.

Я еще раз поблагодарил и ушел.

Через несколько часов я вернулся к этой избушке. Никто меня не встретил, но я был тронут: выбитое окно было заменено другим. Оно было большое, больше оконного отверстия, и оно было просто прибито к стенам, это новое окно. А в избушке лежал громадный крестьянский хлеб, кусок масла и банка молока.

Я пошел к деревне,взял соломы, принес ее в избушку и уложил жену и не знал, как помочь ей. Она просила пить, ей было жарко. Выпив молока, она свернулась жалким калачиком, и мокрые пальто не могли ее согреть.

Мне было очень тяжело. Я уже жалел не обо всем, потерянном, я жалел только ее, у которой хватило сил пройти такой путь. Я как-то, много раньше, говорил ей, что так может поступить только русская женщина. Тогда она смеялась и отвечала, что я ошибаюсь, что женщину душевное движение толкает на жертву.

А в этот момент я подумал, нужна ли и оправдана ли такой цены жертва? И решил, что, видимо, нужна, без нее сама жизнь утратила бы смысл...

4

Так началась жизнь в этой ничейной избушке на склоне горы. Я снял погоны с мундира и заменил блестящие пуговицы обыкновенными, черными, костяными.

В прошлой моей жизни мне не доводилось заниматься печным делом. Только один раз в жизни я видел, как складывали печку из кирпичей: делал это солдат, он очень ловко сложил «времянку», и она так уютно обогревала блиндаж.

Я исходил много верст, прежде чем наткнулся на место, откуда я смог взять кирпичи. Это был разрушенный бомбами дом. Я носил их издалека, по несколько штук, и когда образовалась целая горка, я решил, что пора начинать.

Но сам по себе кирпич еще не разрешал задачу. Кирпичи надо чем то скреплять, и я вспомнил свое детство, вспомнил жирную, скользкую глину, из которой такие ловкие получались шарики.

Но глины здесь не было. Я бродил по лесу, подходил к реке, я много дней потратил на поиски, и однажды, после дождя, я заметил ручеек, несший ярко-желтую воду. Я пошел вверх вдоль ручья и подошел к обрыву — он был из глины. Я так обрадовался этой глине, я улыбнулся своему простенькому счастью и совсем отчетливо представил себе изумление золотоискателей, вдруг наткнувшихся на золотоносную жилу...

— Моя Маленькая уже поправляется? — спрашивал я. Она тихо улыбалась, внимательно наблюдала за моими хлопотами, иногда даже пыталась давать советы, и совсем не сердилась, когда я надоедливо отмахивался рукой.

Наконец, печь была сложена. Это было нечто среднее между плитой и нашей русской, так называемой голландкой. Я с гордостью рассматривал ее, и мне казалось, что это самое лучшее из того, что я создал за всю мою жизнь. Я еще очень долго что-то подправлял, подравнивал и подглаживал. Мне хотелось, чтобы она выглядела совсем хорошо, потому что я делал ее не только для себя.

Она тоже смотрела и радовалась. И мне казалось, что так радовалась и та, древняя женщина, впервые пришедшая к очагу, в котором уже горел вечный огонь.

Да, огонь. И я немножко смутился, я даже испугался, что

моя печь имеет какие-то изъяны, в ней плохо будут гореть дрова и дым может повалить в комнату.

Я так думал. И с горьким сожалением увидел, что так оно и случилось. Но Маленькая не огорчилась, она стойко встретила это разочарование и, задыхаясь от дыма, верила, что я сумею все исправить.

Наконец, дрова разгорелись. И дым пошел куда следует. И все же радость моя была настороженной и ожидающей. Я боялся, что в какой-то момент дым опять хлынет в комнату и разрушит мою надежду. Тогда я думал только об этом, и крушение будущих надежд меня совершенно не интересовало.

И вдруг, уже разгоревшись, уже наполнив теплом избушку, печка начала петь. Я даже не могу сказать, где зарождался этот звук: в самой ли печке, в трубе или еще где. Но звук был ровный, слегка гудящий и напоминающий тихий напев про себя, сквозь плотно сжатые губы.

Постепенно мы так привыкли к этому напеву, что в тот момент, когда согревалась печь и раздавался первый, еще неуверенный звук, мы замолкали и прислушивались.

Иногда мы между собой с тревогой говорили, что она поет, пока новая, и что потом, когда она совсем обсохнет и устоится, она перестанет нас радовать и убаюкивать. Но мы ошиблись. Прошли месяцы. Печка пела. Чем дальше, тем отчетливей. Нам даже казалось, что она научилась петь, передавая свои настроения. Нас это очень радовало, и жизнь была наполнена смыслом и ожиданием.

Иногда мы уходили куда-либо. Возвращаясь, совершенно не сговариваясь об этом, мы спешили развести огонь. И не потому, что нам было так холодно.

Время шло. Мы уже могли получить хорошую комнату в деревне. Сам бургомистр пришел и сказал, что, дескать, да, кой-что изменилось, и можно иметь меблированную комнату, и из окна комнаты прекрасный вид на горы и леса. Мы благодарили бургомистра. Нет. Спасибо. Почему? Мы ему не объясняли, что не можем оставить нашу певчую печку.

Нам было здесь прямо-таки отлично, это было наше, тут мы были вдалеке от всего, и от прошлого и от настоящего.

Своим напевом эта печка связывала нас, и мы были благодарны ей, мы по-настоящему любили ее.

5

Мы познакомились с владельцем замка. Со стариком, бароном. Это произошло в его лесу, тут мы собирали ветки для нашей печки.

Он подошел. Мы разговорились. Он посмотрел на нас, на мой уже обветшалый мундир, на истоптанные сапоги.

Да, конечно, мы можем собирать дрова. Столько, сколько нам нужно. Пожалуйста, сделайте одолжение, — сказал этот старый барон.

Потом мы еще раз встретились. Старый барон увидел нас издали, издали он снял шляпу, и в движении, каким была поднята шляпа, сквозила настоящая, древняя немецкая культура.

Да, да, пожалуйста, говорил он. Позвольте помочь отнести ваши дрова. А потом я попрошу вас, идите со мной, вы будете моими гостями, вы посмотрите замок моих предков. Идемте.

Хорошо, говорили мы, спасибо, барон. И он помог тащить вязанку хвороста к нашему домику, а потом мы пошли вместе с ним.

Мы были в этом старом, тяжелом, трехэтажном доме, прислонившемся к замку и к скале, на которой стоял громадный крест.

Мы осматривали замок, ходили по истертым каменным ступеням, выбитые цифры говорили о девяти столетиях баронского герба.

Медленно, тихо рассказывая, провел барон по своим громадным, холодным комнатам. Их было очень много, двадцать или двадцать две было комнаты, и каждая встречала суровым рисунком бронзовых гербов.

На каждой двери была надпись. Была здесь и «Голубиная», была «Розовая», была «Фарфор», была даже комната «Последнего дня». И о каждой комнате рассказывал барон, листая страницы своего рода.

«Комната книг». Была она какая-то странная, неправильной, необычной формы комната. Справа у окна стоял громадный письменный стол, и на нем уродливый, из какой-то кости или дикого камня сделанный письменный прибор. Слева и в глубине комнаты стояли шкафы и полки с книгами.

Книги были разные: взгляд отдыхал, такое богатство книг на разных языках было собрано здесь.

Мое сердце не могло не вздрогнуть. За стеклом, в роскошных переплетах, стояли томы Толстого, Достоевского, Лескова, Тургенева и еще много славных имен русской литературы.

Я задохнулся. Барон, сказал я, скажите, неужели .. И он спокойно по-русски ответил и попросил меня подойти к этому шкафу, да, вот сюда, и взять, и посмотреть... И я вынул несколько толстых книг. Это был Лесков и Тургенев на немецком языке. Но я все-таки еще не понимал, почему я должен рассматривать эти книги. И только через мгновение я, что-то уже предчувствуя, открыл книги и прочитал две строчки, стоящие на титульном листе. Эти книги были переведены человеком, носящим фамилию барона.

— Скажите, барон, это...

— Да, это я переводил русских классиков...

И когда мы уже выходили, я остановился около шкафа у окна; он был закрыт. И здесь у вас книги? — спросил я, и барон открыл его, и мы увидели несколько полок, и на них были книги, носящие имя барона.

— Позвольте, барон, значит — мы знакомы с вами не со встречи в лесу... много раньше, вот в этих книгах мы уже знали о вас...

Мы еще долго говорили. О многом, и об этих днях, и я говорил о себе, не о замках, а об обыкновенной русской земле. И он внимательно слушал, и мне было легко говорить, потому что он понимал самые тончайшие оттенки моего материнского языка.

И тут я сказал барону, что, вот, мы построили себе печку, и печка эта на чужой земле создала нам уют.

— Да, — задумчиво ответил старый барон, — это я понимаю. Печка, да...

— Но это еще не все, — торопливо остановил я барона, — наше печка поет, она создает удивительное очарование своими напевами. Если бы не это, сказал я барону, нам было бы очень тяжело жить...

И уже выйдя из замка, уже направляясь к себе, мы долго еще ощущали атмосферу этих комнат, хранивших в себе прошлое, неповторимое и немножко грустное.

6

Через два дня, под вечер, к нам в избушку пришел барон. «С ответным визитом», — улыбаясь, сказал он. У нас не было стульев. Два пня заменяли нам кресла, и мы усадили барона на самый лучший пень.

— Я пришел предложить вам одну из комнат в моем доме, — сказал барон. — Прошу вас переехать... вернее, перейти...

Мы благодарили барона. Мы говорили ему, что нам трудно решиться на это. Нам так тихо и хорошо здесь. И потом, сказали мы, послушайте, барон, мы сейчас разожжем дрова. Вы только послушайте, барон, говорили мы и торопились.

И когда вспыхнули ветки в нашей печке, когда она обогрелась, мы никогда еще не слыхали такого радостного и полного напева. Мне даже казалось, что так поет печь только потому, что к нам пришел такой хороший гость.

Старый барон сидел, задумавшись. Мы молчали и смотрели на этого потомка рыцарей и думали, что этот простенький напев нашей печки будил в его крови уже затухающие картины того прошлого, когда и пень, и солома, и треск дерева еще жили настоящей, полнокровной жизнью.

7

Было уже темно, и мы провожали барона. Он шел спокойно, высокий, прямой и по-особенному несущий голову.

Прощаясь, он сказал:

— Да, я вам немножко завидую... Знаете что: не лишайте меня удовольствия. Переходите жить ко мне... а в какие-то дни мы будем посещать эту горную развалившуюся избушку и сидеть и слушать вашу певчую печку...

Слезы

Это случилось в то время, когда у берегов Святого озера только что появился Чудесный Человек с проповедью любви. Человек шел тихо. Он надолго задерживался в поселках рыбаков и около пастушьих костров. Он не торопился. Но далеко впереди Него бежала и бежала молва и когда слух о Нем пронесся по всей Иудее и достиг Рима, к Нему начали стекаться многие. Приходили мудрецы для того, чтобы посмеяться над Пророком, возвещающим новую религию. Самонадеянно приближались к Нему обладатели неизмеримых богатств. Эти были окружены слугами и телохранителями, и хвастались своим могуществом, силой драгоценного камня и металла, какой не имели и цезари Вечного города. Надменно приближались прославленные римские воины, чтобы с презрением взглянуть на Того, кого называют царем, хотя у него нет ни одного копьеносца, ни одной боевой колесницы.

Но больше всего стекалось к Нему простых сердцем детей пустыни.

Рядом со светлым ореолом Христа поднималась и ширилась мрачная слава сирийца Катуды, прозванного так за свою жестокость.

Был этот Катуда из племени Но-Ах, был сыном всеми уважаемого человека, и когда ему стало двадцать лет, впервые совершил он страшное убийство. Обагрив руки в крови, он ушел от людей, и с тех пор пропал. Думали, что убийцу рас-

терзали хищные звери, ибо все знали, как справедлива пустыня к приходящим с отягощенной совестью.

Но скоро вновь было совершено убийство, и люди стали говорить, что и это дело рук Катуды. И, наконец, вся Сирия и смежные земли заполнились рассказами о злодеяниях Катуды, о его жестокости и о его богатствах, созданных грабежом и убийством.

До того был велик посеянный Катудой ужас, что при одном его имени бледнели смуглые лица мужчин, в обморок падали женщины и лишались языка невинные дети. Стоило только вспомнить его имя, и людям казалось, что густеет и насыщается воздух сладковатым запахом тлена.

Всюду начали говорить, что Катуда перестал убивать ради золота и драгоценных камней. Нет. Катуда уже умерщвляет людей только для того, чтобы видеть кровь. Убивает немощного старика. Убивает жизнерадостную девушку, которая только-только начинает чувствовать приближение потребности материнства. Убивает и младенца, оторванного от теплой груди матери. И, убивая, спокойно смотрит Катуда темными, равнодушными глазами на свои страшные дела.

В один день шел Иисус, окруженный учениками и народом. Его голос был подобен легкому ветерку. И как под ветерком тихо склоняются колосья злаков, так клонились и головы людей, внимающих словам Откровения.

После многих дней проповеди, приблизился Иисус к роще и сказал:

— Там, под сенью кедров, будет трапеза и отдых. . .

В тени расположились люди и с любовью смотрели на бледный, тонкий лик Иисуса. Усталы были Его глаза, и во всей Его фигуре, прислонившейся к дереву, чувствовалось желание отдохнуть.

Народ умолк. И сразу перестали шелестеть листья. Даже неугомонные птицы затихли и ветер не прилетал больше из пустыни, — так велико было обаяние Человека, принесшего миру дивные заповеди.

Иисус уснул. Ученики с народом отошли в сторону, боясь нарушить Его сон. Тихо сидели последователи Иисуса, и солнце клонилось к востоку. Благостен был день, чист был воздух, все длиннее и длиннее становились предвечерние тени.

Молчала и пустыня, вслушиваясь в слова широкоплечего ученика Иисуса, Петра, рассказывающего народу о том, как оставил он рыбачьи сети:

— И сказал мне Иисус: оставь сети, иди, свидетельствуй во имя Мое...

Просты и мудры были слова неискусного в речах Петра. Но такая вера звучала в них, так благостен был день и так таинственно внимала пустыня, что слезы закипали на глазах слушающих. И когда сердце человеческое было так открыто, как открывается после ночи цветок навстречу утренней заре, в этот миг дико вскрикнула женщина и прижала к себе девочку.

Страшен был этот крик, ужасом пал он в тишине и людей охватило отчаяние. Старик Петр вздрогнул и спросил:

— Что ты, о женщина?

И все взглянули на нее. Она стояла дрожа и прижимая к себе девочку. И все посмотрели туда, куда глядела женщина. Многие еще не знали, что там происходит, что узрела обезумевшая женщина, но все чувствовали приближение чего-то неизъяснимо страшного. И уже против своей воли, все вперились взглядом в то, что приближалось к ним.

В молчании уже не было благоговейной тишины. Незримо росли шорохи, как будто тронулись, пришли в движение великие пески и грозили засыпать зеленые злаки, пестрые цветы и многоводные реки. Даже солнце спешило уйти, чтобы не глядеть на того, кто двигался из пустыни к людям Иисуса.

А тот, идущий, все приближался. Лица его не было видно, так как убегавшее солнце находилось за его спиной. Он спешил, и впереди него уродливо торопилась серая тень, которую, казалось, человек пытался обогнать.

Когда он приблизился, кто-то испуганно воскликнул:

— Катуда...

Печальным эхом отозвалось это страшное имя в сердцах тех, кто вот уже столько времени следовал за Иисусом, за Учителем, принесшим миру новую религию.

И Катуда приблизился.

— Зачем ты пришел сюда, о величайший грешник? — тихо спросил ученик Иисуса, рыбак Петр. Только после этого окружавшие Катуду увидели, что руки его обмотаны полотном. И как-то само собой получилось, что толпа стала смотреть не в глаза, не в лицо страшному убийце, а на его запеленутые ру-

ки. Да и держал он эти свои руки как-то странно, слегка протягивая вперед, словно просил подаяния.

— Зачем ты пришел сюда, величайший грешник? — вновь воскликнул Петр.

Тогда Катуда упал на землю, лицом вниз, и начал срывать повязки. Белые холщевые полосы лежали на песке, и стоявшие близко к Катуде увидели его руки: они были в крови. Потом Катуда вскочил. Ближние в страхе попятились: огромны были его глаза и омерзительны руки, с пальцев которых, казалось, вот-вот станет капать кровь. Задние, спеша удовлетворить любопытство, свойственное толпе, устремились вперед.

А Катуда, протягивая к толпе свои окровавленные руки, кричал, захлебываясь словами. Что он говорил, понять было нельзя.

Солнце уже совсем приблизилось к горизонту, когда Катуда успокоился и сказал:

— У вас тут есть Справедливый Человек, именуемый Царем. Он ведет за собой народ, творит чудеса. Я хочу Его видеть. Я жду чуда...

Трепет охватил последователей Иисуса. Не затевает ли Катуда новое, неслыханное злодеяние?

— Ты... ты хочешь видеть Иисуса? Зачем?

Катуда стал говорить. Притих начавший волноваться народ, плотно сгрудившись вокруг пришедшего из пустыни. Катуда рассказывал. О своем первом убийстве. Об убийствах. О сотнях трупов, о неисчислимых богатствах, о том, что сам он уже перешагнул через страх смерти и крови и мог смеяться над стоном погибающего.

Затаив дыхание, толпа слушала кровавый бред Катуды.

— Недавно в пустыне я встретил старца. Ни камней, ни золота он не имел. Но я его остановил, — продолжал Катуда. — Мне не нужны богатства. Мне нужна кровь... Старец устал. Он присел около меня и, не зная, кто я, начал говорить о дивных делах, творимых Неким Человеком у вод Святого озера... Я его терпеливо слушал, задавал вопросы, говорил, что верю его рассказам, а сам думал: еще немного, и я убью тебя, и не спасет тебя ничто,даже твоя вера в Того, Кто творит чудеса. «Куда ты идешь?» — спросил я. «Иду, чтобы рассказать и другим об Иисусе». «Ты никуда не пойдешь, — сказал я ему. — Сейчас ты будешь мертв: я — Катуда»... Старец задро-

жал. Я же смеялся, говоря ему, что не придет сюда его Царь, творящий чудеса. Я глумился над ним и над его слепой верой. И ударил его кинжалом. Старик был слаб и скоро успокоился. Мне стало жаль, что он так быстро умер: я не люблю людей, легко расстающихся с жизнью. Я толкнул труп и вдруг старец открыл глаза. Обрадовавшись, я крикнул: «Где же твой Иисус? Почему Он не идет спасать тебя?» Старец спокойно посмотрел на меня и сказал: «Ты сам пойдешь к Иисусу». В злобе вскочил я, топтал его ногами, потом камнем размозжил ему череп, а ночью смеялся, слушая подвыванье невдалеке бродящих шакалов... Утром я встал... и в солнечном свете увидел, что мои руки в крови... Это меня не удивило. Я вытер их полой халата, но кровь не отставала. Тогда я пошел к ручью и... кровь не сходила... не сходила... не сходила... Из края в край пустыни бродил я... с этими руками... дни и недели... Глядя на свои руки, я сходил с ума. Я проклинал несчастного старца, который, не имея ни золота, ни камней, шел куда-то на восход солнца, неся свою наивную веру... А потом... я перестал убивать. Я роздал свои богатства, обвязал чистым полотном руки, но кровь с них не сходила. И тогда я вспомнил слова старца. И вот я пришел сюда, к вашему Иисусу, в которого так верил прóклятый мною старец. Покажите мне Его, вашего Царя, я хочу сказать, что и Он обманщик...

Солнце зашло... Тьма охватила землю... Никто уже не видел лица Катуды. Никто не обратил внимания, что маленькая девочка, любимица Иисуса, приносящая ему по утрам полевые цветы и хлебные колосья, сидит рядом с Катудой и, сжав его окровавленные руки, плачет над ними.

И тут раздался голос Иисуса:

— Дети мои, да будут возжены костры...

Когда ярким пламенем вспыхнули сухие ветки, толпа раздвинулась и Иисус подошел к Катуде. Девочка все еще плакала, прижавшись лицом к рукам разбойника, и на них падали ее слезы.

— Катуда...

Он поднял свои глаза. И спросил:

— Ты... Ты Тот, о Котором говорил мне старец?

— Да, я Тот...

— Если ты действительно Тот, сделай так, чтобы мои руки...

Иисус тихо прошептал:

— Не искушай... взгляни: слезы ребенка смыли кровь с твоих рук...

Все — и Катуда и толпа — взглянули... Кто-то недоверчивый поднес пылающую ветвь, и при свете ее все увидели на чистых руках Катуды детскую слезинку, еще не успевшую высохнуть...

Верой наполнились глаза Катуды. Преклонив колена перед Иисусом, прислонившись к краю его одежды, он сказал:

— Не руки... душу мою Ты очистил. Верой, такой же верой, как тот старец, наполнен я. Скажи: что мне делать?

— Встань, — произнес чуть слышно Иисус и возложил руки на голову Катуды. — Взгляни глазами твоими к северу и югу, к востоку и западу. Приблизься к песчаному берегу моря... Прикоснись к шуму городов многоязычных. Достигни и тех мест, где сходятся потоки вод... Иди, и свидетельствуй во имя Мое...

В молчании стояли ученики Иисуса и народ. Слушали. И глядели, как доверчивая темнота ночи принимает удаляющегося в пустыню Катуду...

Мюнхен. 1950 г.

МИНИАТЮРЫ

Юрка

Ночь ушла. С рассветом в город ворвались красные знамена, цокот подков, крики и выстрелы.

Потом появились новые вывески. И угрожающие расстрелом приказы о явке белых на регистрацию. Город наполнился тревогой и слезами.

И все-таки жизнь заставляла что-то делать, пусть даже ненужное и совсем бесцельное. Потому и Иван Михайлович направился к дому, окруженному часовыми. Его встретили сурово и подозрительно.

— Белогвардеец?

— Нет, инженер...

— Чего надо?

— Видите ли, в ту ночь, когда отступали белые...

— Давай покороче!

— Когда белые отступали, к нам на веранду подбросили ребенка... Мальчика, Юрочку... Так вот...

— А тебе что?.. Подбросили и ладно... Тебе-то какой интерес?

— Видите ли, товарищ начальник, ребенка-то ведь ко мне подбросили...

Начальнику надоело возиться. Он крикнул в соседнюю комнату:

— Эй, Михальчук! Разберись...

Вскочил Михальчук и расторопно осведомился:

— Посадить? В восьмую к контрам?

— Нет... пока не надо... тут вроде частное...

У Михальчука сразу стало скучным лицо, он зевнул и поманил пальцем:

— Слышь, ты . . . идем . . .



Михальчук был страшно энергичен и деятелен. Когда Иван Михайлович рассказал о подкидыше, он долго думал и примерял, как бы так все это оформить, чтобы получилось настоящее дело.

Он допрашивал Ивана Михайловича. Все ответы тщательно и медленно записывал. Профессия? Инженер. Образование? Политехнический институт.

— Погоди . . . Как?

— Политехнический институт . . .

Михальчук с недоверчивой пристальностью посмотрел в глаза Ивана Михайловича:

— Скажи на-милость! Чудно . . . А ну-ка скажи еще раз . . .

— По-ли-тех-ни-чес-кий . . .

— Н-да . . . А не врешь?

— Помилуйте . . . Дайте я напишу . . .

— Ишь ты, ловкач! Так я тебе и доверю! Выходит, значит, грамотный?

— Ммм . . . да, грамотный . . .

— И подписаться могешь?

— Сумею . . .

— Ладно, черт с тобой! Так и запишем: «Читать-писать знает» . . .

Долго еще продолжался допрос. Когда все уже было закончено, Михальчук кликнул парня с винтовкой и приказал:

— Я к начальнику смотаюсь, а ты тут посмотри за этим, покарауль!

Парень сдвинул с глаз буденовку и спросил:

— Сидючи чи стоючи?

— Пусть сидит. . .



Михальчук вернулся не скоро. Войдя в комнату, он отпустил караульщика и благодушно сказал:

— Выкрутился, сукин сын... Пока не велено садить... А только приказано, чтоб каждый день был на регистрации...

— Кто?

— Кто? Кто? Кого там тебе подкинули?

— Да он еще сосунок!

— Сосунок? Хм... Да мне все равно: ходи сам!

— Каждый день?

— А ты что ж думал: на Новый год!

*

Утром Иван Михайлович взял на руки Юрочку и, напутствуемый Юлией Борисовной, пошел регистрироваться, а заодно и хлопотать об усыновлении ребенка.

Начало было удачное: в регистрации отказали. А насчет усыновления дело опять дошло до начальника.

— Эх, и назойливый же ты, ну, прямо-таки сказать, вредный гражданин... Мы тут устанавливаем советскую власть, белых ловим, да и с бандитизмом тоже... Какое тебе усыновление? Погоди, вот как укрепим советскую власть, тогда и разберемся: кого к стенке, кого в детдом или еще куда...

— Да я не хочу сдавать, я хочу сыном его признать... у себя навсегда оставить...

— Вона что! А знаешь, оставляй, черт с тобой... Погоди, да ведь дите кормить надо?

— Конечно...

— Ну и бери!

— Так дайте бумажку...

— Какую такую?

— Что вы разрешаете мне взять подкидыша...

— Для чего тебе такая?

— А это жена говорит, чтобы юридически было оформлено.

— Оно конечно... раз советская власть... Михальчук!

Опять вкатился Михальчук и подозрительно оглядел Ивана Михайловича:

— Ага! Теперь садить?

Начальник объяснил, в чем дело. Михальчук слегка растерялся, но потом самоуверенно сказал:

— Юридически? Отчего же, это можно... А потом посадить?

— Да нет... ты только оформи и пускай себе катится колбасой...



От Михальчука Иван Михайлович вышел, имея такую бумажку без подписи, но с печатью:

> «Гражданину . . . . дозволяется принять вроде как бы сына подкинутого мальчонку бесфамильного Юрку и кормить его в полной справности до призыва в славную рабоче-крестьянскую армию».



С таким документом вошел Юрка в семью Юлии Борисовны...

1948.

Иуда

Вдруг, совершенно неожиданно, из края в край земли пронесся дивный слух: где-то, у берегов неназываемого моря, вновь явился, пришел к людям Иисус. Вслед за слухом ширились отзвуки его проповеди, будившей усталую душу. И люди вновь начинали верить, что в мир возвращается Истина.

Еще не зная, где находится Иисус, поднимались семьи, отцы брали детей на руки и шли. Шли, стремясь увидеть Того, уже бывшего некогда в этом мире, шли, чтобы преклонить перед Ним колени и коснуться его хитона.

Воины перестали убивать воинов. Ученый, уже разрешивший загадку взрыва самого воздуха, покинул лабораторию. Матросы оставили свои корабли. И ни о чем не расспрашивая, двигались все вместе к таинственным берегам.

Это было торжественное и великое шествие. И потому, что оно было таким, каким оно было, никто не заметил и не обратил внимания, как некто высокий, немного косящий одним глазом, торопливо обгонял идущих. Он все обгонял и обгонял, и не останавливался у костров ночных, он ни с кем не говорил, он спешил. Его не радовал мягкий ветер и весеннее солнце. Молодая зелень и яркие цветы не привлекали его взгляда. Даже воду он не пил, а глотал, как затравленный зверь, боящийся потерять хотя бы одну минуту. И потому, что он шел так быстро, никто его не рассмотрел, и не сказал соседу:

— Гляди: это — Иуда...

Только ему одному принадлежащая сила толкала его все вперед и вперед. Без сна и отдыха, почти без пищи стремился он с непонятной настойчивостью. И вот одним из первых в то таинственное место пришел Иуда. Недоверчиво обозрев обыкновенные пески берега, он долго, став боком ко Христу, рассматривал Спасителя. И постепенно радость наполнила его до краев: да, это был Тот самый, это был Христос.

Окончательно убедившись в этом, Иуда смело подошел к Иисусу и остановился в двух шагах от него. И потому, что иудина тень коснулась ног Иисуса, Он повернулся и молча посмотрел на Иуду. Потом протянул руку, притронулся к плечу Иуды и тихо сказал:

— И ты здесь, Иуда...

— Да, Господин, я здесь... Вот видишь, я тот самый. Я там, где я должен быть...

И косящий глаз Иуды усмехнулся...

Христос обратился к своим последователям и указал рукой на подошедшего:

— Смотрите... это — Иуда, думающий, что он тот самый, и ошибающийся...

И народ смотрел на Иуду, и не мог вспомнить Иуду, ибо перед народом был сам Христос.

И народ пошел вслед за Иисусом, а Иуда остался, и полузакрытый, косящий его глаз отмечал каждый шаг Христа.

Когда наступила ночь, Иуда упал на землю и беззвучно смеялся, и от смеха мутной слезой заполнялся его полузакрытый бельмом глаз. А ночью, протянув вперед руки, он дико кричал:

— Я тот же самый . . . не ошибающийся.

И хотел верить своему крику, и чтобы поскорей поверить этому, он исчез, и не знал, что утром Иисус сказал своим слушателям:

— Вот скоро будет здесь Иуда, тот — ошибающийся . . .

Иуда быстро нашел покупателей. Как и тогда, торг был очень коротким, и Иуда второй раз получил свое серебро и привел тех, кому мешал Христос.

Было уже темно, Иуда совсем близко подошел к Иисусу и остановился. И зашептали идущие рядом с Иудой:

— Показывай . . .

Иуда шагнул вперед . . .

А потом он остался один. И вновь смеялся, и захлебывался в смехе, выбрасывал руки вперед и сухими губами убеждал себя:

— Я тот же самый . . .

И не верил своим словам, и уже чувствовал, что в чем-то он обманулся, что-то сделал не так, что прав был Тот, вторично Распятый.

Желая убедить себя в чем-то, Иуда все время возвращался мыслями к прошлому. Он радовался легкому и выгодному предательству. Он убедил себя, что в этом серебре была и цель и смысл его жизни. И тогда удовлетворенно улыбнулся Иуда, и подумал, что не даром он так торопился.

Христос был . . . Христос второй раз пришел к этим людям...

И в спазме смеха кипело презрение к этим, отдавшим Христа на Распятие... Значит, прав был он, Иуда: раз мог второй раз явиться Иисус — должен был явиться Иуда.

Шли долгие годы... Иуда стал совсем дряхлым и немощным. И он радовался, что воспоминание об Иисусе не покидает его ни на одно мгновение. В этом он видел себя, того, дерзнувшего сказать:

— Я — тот самый, не обманывающийся...

И вдруг к нему пришло раскаяние. Перед ним предстала вся, в малейших подробностях, картина предательства. Раскаяние превратилось в терзание, в боль, которая мешала жить.

Иуда стал сожалеть о совершенном. Он утратил последние остатки старческого сна и со страхом встречал длинную пустоту ночи.

С годами его косящий, испоганенный бельмом глаз совсем закрылся и в ночь вонзался только один дико горящий глаз. Но этот наполненный безумием глаз не мог преодолеть темноту, и бессильными, дрожащими руками терзал Иуда свою высохшую грудь, сам себе сжимал горло и с тоской чувствовал, как мало силы в его пальцах.

Настоящая тяжесть сожаления пришла позже, тогда, когда он понял, что терзания его — это не терзания того, прежде бывшего Иуды. О нет. Его мука — это страдание от мысли, что он так... продешевил, что не взял настоящую цену за Того, кто назывался Христом. А самое главное — он сожалел, что взял серебром. Надо было брать золотом, так вопила потревоженная его совесть, и бросала его, задыхающегося, в горячие, воняющие потом перины.

Валяясь в полузабытьи, в бреду, он видел кучу матово-желтых монет, таких тяжелых и драгоценных, тех монет, которые он не взял, а мог, конечно мог взять...

Каждое утро всходило солнце. Солнце встречал опустошенный, жалкий и бессильный Иуда. Плача одним глазом он шептал:

— Ты обманул меня, Распятый...

И уже утром думал о где-то идущей бессонной ночи...

Мишка

Ты не принес мне сегодня счастья, Мишка. Не потому ли ты стоишь ко мне боком, Мишка? Скажи . . .

Молчит Мишка, маленький, из липы вырезанный медвеженок, сделанный руками и ножом несчастного, большого таланта скульптора, умиравшего в концентрационном лагере.

Ты не принес мне сегодня счастья, Мишка. Но я тебя не обвиняю, ты не виноват, ты сам очень маленький и беспомощный. Помнишь, как ты однажды исчез и я долго не мог тебя найти. Я ползал по полу, всюду заглядывал, но нигде не мог тебя обнаружить. А потом, когда я все же нашел тебя в самом неожиданном месте, я очень удивился и недоумевал, как я не увидел тебя раньше. Я даже думал, что ты сам, нарочно, прятался от меня. Мне даже приходила мысль, что ты очень обиделся на меня, почему я сразу не заметил твоего отсутствия на столе, на твоем постоянном месте. Но ведь я скоро спохватился, заволновался, спросил самого себя: «А где же мой маленький Мишка, тот липовый медвеженок, которого я пронес сквозь тюрьмы и этапы?»

Я был верен тебе, Мишка, по отношению к тебе у меня никогда не появлялась предательская мысль. Я любил и люблю тебя искренне. Ты сам отлично знаешь, ты до сих пор должен помнить, как за тебя мне предлагали конвоиры неимоверную ценность — два пакета табаку. Это был хороший табак, помнишь, Бринкманн-табак. На нем так и было написано: «Бринкманн». А ниже стояло: «Бремен». А я так хотел курить, у меня шла слюна при одной мысли о запахе дыма, такого седого, вкусного, табачного дыма. Я отказался и тогда, когда к этим двум пачкам прибавили целый свежий хлеб. В нем было не больше килограмма, но тогда мне он показался хлебной горой, способной навсегда потушить жгучий голод. Я не был предателем. Я крепко сжал тебя, Мишка. Ты лежал в кармане моего рваного пальто. И ты тогда должен был почувствовать, как дорог и нужен ты мне, дороже хлеба.

Нет, я не могу предать моего Мишку, сказал я себе. Вместе с ним я дойду до своей черты, и потом Мишка станет свобод-

ным. Чьи-то руки возьмут его, может быть он станет украшением чужого, прекрасного, орехового письменного стола.

Да, кстати, и у меня когда-то был очень хороший, ореховый письменный стол... нет, я забыл, и теперь вспомнил: не ореховый, а из грушевого дерева. Такие столы были редкостью даже тогда, очень давно, когда умели ценить и считать родными вещи и предметы, которые помогают жить, умеют создавать уют, ничего общего не имеющий с холодной и подозрительной роскошью модных курортов и международных отелей.

Да, о чем я думал? Ты попадешь в чужие руки. Может быть. Но ты навсегда запомнишь, что я нес, мечтал донести тебя до своего письменного стола, чтобы рассказать о тебе и о себе.

Подожди. Ты не попал в чужие руки... Но и я не донес тебя к своему прямо-таки замечательному столу, и не показал тем, кому я так хотел показать тебя. Такова судьба, Мишка, и в этом я не виноват. Честное слово, если бы все было так, как мечталось, ты получил бы самое лучшее, самое видное место на этом столе. Ты не знаешь, так я тебе скажу: после обеда на правый угол этого стола падал изумительно острый и ясный луч солнца. И тогда звездами вспыхивала какая-то хрустальная безделушка, ласково перемигиваясь разноцветными огоньками со старым, солидным и очень серьезным серебряным письменным прибором. Хрусталь был — само легкомыслие; тусклое серебро прибора — молчание и мудрость. И со всем этим так гармоничны были древние, бронзовые и очень высокие часы под стеклянным колпаком. Своим выпуклым циферблатом они совсем спокойно смотрели на каждодневно возникающий на письменном столе луч солнца, на улыбку хрусталя и задумчивость серебра.

Сколько лет они тиктакали, я не знаю. Но много, очень много времени отсчитано с тех пор, как они пришли в нашу семью. Они помнили прадедушку. О нем говорили странные вещи, и при этом всегда вспоминали прабабушку, оставившую мир под именем игумении Иулианны. И дедушку они знали, и отца моего, а меня они должны хорошо помнить...

Так вот, Мишка, видишь, куда я хотел тебя принести. Я не виноват, что не сбылось это...

Я пошутил, Мишка. Ты дал мне счастье. Иди сюда, мой ма-

ленький из липы вырезанный медвеженок. Видишь, я тебя поворачиваю, я смахну пыль с твоей спины. Ты принес мне счастье и радость хотя бы тем, что глядя на тебя я вспоминаю то, что было.

Я знаю, ты не обижаешься, что я не смог отвести тебе место на моем замечательном письменном столе. Ты не обижаешься потому, что для тебя я нашел очень теплый уголок в моем сердце...

Сон

Почему-то здесь оказался и Фриц, хозяйкин сын. Я его тут никогда не видел, меня это удивило, и мне стало нехорошо. Я сам не знаю, почему. Потому ли, что здесь хозяйкин сын Фриц, и я с ним мало знаком, и он еще молод. Или потому, что много здесь чужих, и все спешат сесть и сыграть в карты.

И я тоже тороплюсь, очень тороплюсь занять место, как будто от этого зависит чья-то судьба. И уже сев, я боязливо оглядываюсь, и мысль, что я, может быть, сел не на свое место, точит томительно мозг. Я кричу:

— Ну, давайте карты...

И все удивленно смотрят на мой крик. И молчат. Тогда я сам удивленно гляжу вниз и молча говорю:

— Давайте играть...

Все поняли, и зашумели, и появились карты. Тогда я успокаиваюсь, поднимаю глаза и вижу: сидит на другом конце стола Фриц, хозяйкин сын, и чему-то смеется. Мне очень нужно знать, чему он смеется, но я не хочу спросить, потому что я за что-то обижен на Фрица, и еще потому, что он хозяйкин сын и у меня мало денег.

Кто-то говорит:

— В покер...

— В покер, — громко и страшно тревожно кричу я, и мне хочется плакать. Кругом нет близких, нет родных, есть только один Фриц, хозяйкин сын, и еще один, высокий и очень худой. Я его знаю, но не могу вспомнить, кто он такой и откуда он, и почему у него в руках карты.

Всем дают по шести карт. И я беру их, и тоскливое недоумение сковывает мои пальцы: я не могу развернуть карт, но ясно вижу, что их у меня шесть, и у всех по шести.

— Почему шесть карт? — молча спрашиваю я. Никто не слышит моего вопроса, но все вдруг ужасно как начинают кричать, машут руками, а тот знакомый, не узнаваемый мною, шепчет мне в лицо, и я чувствую теплоту его гнилого дыхания, и стараюсь отвернуться, но не могу, а он все шепчет и шепчет мне в лицо; и уже засматривает в мои карты.

И вдруг со смехом кричит Фриц, хозяйкин сын:

— 4, и еще 20...

Я совсем не знаю, что это значит, и надо ли мне тоже смеяться. Тоска овладевает мною, и я упорно смотрю перед собой, и что-то кружится, все кружится передо мною, и я не знаю, что это такое...

И откуда-то неслышно произносит кто-то совсем печально: «Ни-ког-да...»

Я оглядываюсь, я ищу, кто сказал это, и не могу найти. Я всматриваюсь в лица: никто из них не может сказать так, как прозвучало.

— 4, и еще 20! — вновь кричит кто-то, и я жалко встаю, и тут поднимается большой шум, и у меня отбирают мои шесть карт. Я с облегчением смотрю на мои руки и думаю о том, кто сказал: «Ни-ког-да» и что значит: «4, и еще 20».

Тут мне дают какие-то короткие, тонкие палки, и я опять не знаю, для чего все это. И все вскакивают, теснятся, теснят меня к какой-то изгороди, и когда я совсем близко к ней, в щель я просовываю те палки и радуюсь, что теперь я уже совсем свободен и ничем не связан с толпой.

Вдруг я остаюсь совсем один. И оказываюсь около старого колодца с колесом, и мне страшно нужно узнать, почему я здесь, почему мне так хорошо тут. И старая большая груша как-то сразу вздрогнула листьями и повернула их ко мне тыльной стороной... Она была уже блеклой по-осеннему, и я

сразу узнал эту грушу, и колодец, и колесо, сдвинутое с места.

Я засмеялся совсем как в детстве и с удивлением слушал свой молодой смех, и старая груша радовалась, что я узнал ее.

Потом приблизился шум голосов, и скоро меня окружили. И чем больше я вглядывался, тем ярче видел близкие лица: и Надежда Осиповна, и Нина, и Виктория, и мама... все с ведрами, все пришли по воду и радостно говорили:

— Вот и Виктор тут... а мы пришли по воду...

Я бросился к колесу, хотел качать воду, но колесо не работало, и воды не было. Все ждали, а я не знал, что делать, и мне было стыдно, что, вот, они пришли с ведрами, а воды нет.

Тут старик какой-то, странно знакомый, вытащил блестящий топор, передвинул колесо к столбу, ударил два раза и пошла вода.

Они брали воду, нарочно не смотрели на мою седую голову и трясущиеся руки. Они старались не замечать, как я плачу, а я видел, что на грушу падает дождь и по листьям слезами сбегает на утоптанную землю.

ОХОТНИЧЬИ РАССКАЗЫ

Новогоднее

(Из старых тетрадей)

Будут подняты бокалы. И вино слегка вскружит голову, и на мгновение поверят люди в новое счастье, приносимое Новым годом.

Может быть, это и хорошо. Может быть, и нужна эта вера в какое-то призрачное, ожидаемое счастье. Не мешайте, пусть ждут и надеются. Пусть тонким, хрустальным звоном откликнется бокал бокалу.

«С Новым годом» — и я так скажу кому-нибудь в те полночные 12 часов, когда сяду за стол и буду ожидать этот вечно молодой, всегда юный Новый год.

Но это случится через несколько дней, в тот таинственный стык декабря и января, который с таким нетерпением ожидают всюду, и в моей холодной, снежной и горемычной России, и там, где сейчас пышно цветут орхидеи, и во всех местах, где только смог приютиться человек.

Бокалы еще не налиты. И мне немножко, совсем чуть-чуть грустно. И я вытаскиваю свои старые записки. Я буду рассматривать их, поищу, где, что и когда случилось такое, что поразило меня в такие вот предновогодние дни.

Мне хочется прочитать из моего прошлого, и я натолкнулся на одну запись, она меня остановила, и я ярко представил себе, как это было. Это относилось к ласточкам, быстрым, таким уютным и красивым птичкам. Я пошел дальше, и выбрал из старых записей еще одну — о скворцах. Почему? Я и сам хо-

рошенько не разбираюсь, почему я так сделал, но мне хочется именно рассказать о ласточках и скворцах, рассказать так, как это было, как я видел и пережил.

— Да это же не новогодний сюжет? — может воскликнуть читатель.

— Да, — смущенно отвечаю я. И прошу: — Но все равно, сделайте милость, послушайте. Хотя бы потому, что все это сама жизнь, и мне немножко грустно, и в том, что я буду передавать вам, — есть какой-то свой, сокровенный смысл...

1

ЛАСТОЧКИ

С ними я очень коротко знаком. Я наблюдал их жизнь совсем близко, много-много лет подряд. Знакомство это началось в крохотном именьице моей мамы. Такие именьица у нас назывались «фольварками».

Уже с детства я привык к тому, что с самых первых весенних дней в одной раме кухни выставляли верхнее стекло, «шибку», как говорили у нас. И после этого я часто забегал в кухню и с любопытством спрашивал:

— Нету?

— Нету, нету, ради Бога, не мешайтесь тут... Скажу...

Иногда приходила на кухню мама, садилась на широкую скамью и обращалась к старенькой, крохотной поварихе:

— А что, Магда, нету еще?

— Нету, пани Юстя, нету... Вот-вот должны быть...

Я стоял у дверей и слушал, как говорила мама с Магдой, старенькой поварихой, о том, что вот уже скоро прилетят ласточки.

В какой-то день старушка Магда прибегала и взволнованно, как бы боясь кого-то потревожить, шептала:

— Пани Юстя... тут...

Мама, Магда и я осторожно спускались в кухню, тихонько открывали дверь и видели: на проволоке, невдалеке от печки,

сидели две ласточки. Они сидели молча, и видно было, как они устали. Потом они начинали чуть слышно щебетать о чем-то своем, крутили головками и игрушечно-блестящими глазками поглядывали в уголок, проверяя, свободно ли там место, где у них столько лет подряд было гнездо.

Отдохнув, ласточки улетали. И пропадали несколько дней. Но нас это не тревожило. Мы знали, что таков ласточкин порядок. Сделав нечто вроде заявки, сказав хозяевам, что, дескать, мы уже здесь, не беспокойтесь, все в порядке, они несколько дней носились в весеннем воздухе, делились новостями со знакомыми и родственниками и в какой-то свой день вновь впархивали в кухню и без разговоров принимались мастерить гнездо. Не для себя, для своих детей.

У меня было много времени для наблюдений. Я часами сидел и смотрел на птичьи хлопоты. Я видел, как быстро растет земляной домик-шкатулка. Наконец, в одно утро я обнаруживал, что из отверстия шкатулочки выглядывает темная, остренькая головка, и тогда бежал наверх, к маме.

Мама спускалась в кухню и говорила:

— Села, голубушка. Ну, с Богом...

А ему-то, хозяину шкатулки, сколько было хлопот. Она в гнезде спокойненько сидит; он мелькает сквозь шибку вынутую взад и вперед, все носит ей мошек. Иногда он втискивается в домик, и она вылетает погулять. Ему нравилось там сидеть, но она скоро возвращалась и сердито что-то говорила ему. Он делал вид, что не слышит и даже головку прятал, просил оставить его в покое. Тогда она цеплялась своими ножками-проволочками за край гнезда и происходило недоразумение: она его щипала, дергала, иногда даже перышки вылетали оттуда. Но все же право было на ее стороне: он скоро вылетал, садился на проволоку, приглаживал взъерошенные, потрепанные перышки, щебетал и исчезал с тем, чтобы как ни в чем не бывало вернуться с мошками. И она его встречала ласково, охотно забывая маленький семейный разлад...

Шли дни и недели. И наступало время, когда мама и Магда стояли у гнезда и слушали легкое попискивание в глиняном теремке.

После этого наступала самая тяжелая пора для родителей пяти птенцов. Теперь и он и она беспрерывно мелькали сквозь

окно, и их все время встречали широко открытые, еще желтенькие клювы птенцов. Кормежка шла с утра до сумерек. Беспрерывно.

В какой-то книге я прочитал, что в такое время каждый птенец получает ежедневно несколько сот мошек. И тогда я понял: сколько мускульной силы должны были израсходовать эти две жившие у нас ласточки, чтобы выкормить своих пятерых птенцов.

Все завершалось обычно: в какой-то день на ободок летка вылезал уже оперившийся птенец. Он долго сидел, как бы к чему-то присматриваясь и что-то расценивая. Потом опять на некоторое время скрывался в гнездо и вновь вылезал и... беспомощно трепыхая крылышками, перелетал громадное для него расстояние кухни и неуклюже примащивался на переплет оконной рамы. Отдыхал. Вновь присматривался и... исчезал в саду. Но он не пропадал там: за всеми его попытками следили родители, подбадривали, поощряли мошками и, увлекая все дальше и дальше, ни на мгновение не оставляли его без присмотра.

Такой же путь совершали и остальные. Не сразу. А друг за дружкой, через какой-то промежуток времени, как будто они созревали и набирались сил поочереди. И почему-то, я это наблюдал много раз, больше всего возни было с последним птенцом.

Потом, когда мазанка становилась пустой и сразу какой-то неуютной и холодной, мама приходила на кухню и с грустью говорила:

— Вот видишь, Магда, опять никого, ушли все...

Магда почему-то крестилась и отвечала:

— Ах, пани-паничка, от веку так заведено... Богом так установлено...

И Магда придвигала табуретку к углу кухни и, подставив ведро, разрушала совсем недавно такое веселое и оживленное ласточкино гнездо.

— Магда, чего ты спешишь... Погоди.

— Чего годить-то, пани Юстя, все уже. Теперь до весны новой ждать будем....

И я, и мама, и Магда — все мы знали: как только последний птенец покидал гнездо, не вернется семейка сюда. Теперь над ними голубое небо, удивительно удобный воздух, кото-

рый так легко и радостно ощущается их нежными крылышками. Ласточки скользят, ныряют, купаются в этом воздухе, иногда стремительно бросаются вниз и играя трогают грудкой воду тихого озера.

Так они будут жить этим воздухом до тех пор, пока не наступит пора уходить от холода и снега нашей зимы. Уходить куда-то очень далеко, по только им самим известным дорогам.



В один сентябрьский тихий вечер я вышел с мамой на веранду. Где-то вдали, чуть-чуть слышно что-то вздрагивало и сердито ворчало. Казалось, титаны возились с каменными глыбами, поднимали их и бросали о-земь, и опять поднимали и вновь бросали.

Мама крестилась. Мне уже было восемнадцать лет, я уже готовился идти добровольцем, и даже наметил себе: «16 Уланский полк», и потому считал себя почти военным и важно говорил:

— Беспрерывная канонада девятидюймовых батарей при благоприятной погоде может быть слышна за сто двадцать верст...

И я представлял себе этот фронт, отдаленный от нашего фольварка на какие то сто двадцать верст. Я как бы видел эту полосу земли. Полоса эта была узкой, длина ее была почти в 3000 верст и вся она дрожала от равнодушно-настойчивого, непрекращающегося грохота огненных взрывов.

А утром вошла Магда и сказала:

— Пани-паничка, не к добру это: видишь, сколько ласточек собралось и чего-то ждут...

С крылечка мы увидели тучи ласточек: они сидели на телефонных проводах, на земле, на крышах домов.

Так они сидели и день, и два, сидели много дней, и холод приближался, а они все оставались около нас, около соседних деревень; иногда они поднимались в воздух, но очень скоро возвращались назад.

— Знамение с неба, — говорила Магда, старушка.

— Худо... ко злу это... — пророчил столетний Аким. — Худо... это есть знак от Бога... Вот уж век я прожил, а ни-

когда не видел, чтобы ласточки в такое время у нас держались . . .

Не война, не близость фронта, не сам фронт, а вот эти тучи ласточек не уйдут из моей памяти. В этом скоплении белогрудых птичек было нечто ужасное, апокалиптическое. Они, эти ласточки, оставили во мне страшный знак об осени 1915 года.

И вдруг ударили морозы. Всюду, куда только можно было проникнуть, забирались эти веселые, любимые народом ласточки. У нас не было комнаты, в которой бы их не было полно. На чердаках они жались к теплым дымоходам. В крестьянских конюшнях и сараях искали они спасения. И не думали улетать.

— Идет Божье наказанье, — говорили старики.

На промерзших, уже гулких дорогах лежали замерзшие, удивительно-покорные в своей смерти, ласточки. Дети бегали, собирали холодные, безжизненные, с распростертыми крылышками трупики и хоронили их. Матери детей мрачно, в предчувствии горя, смотрели на эти птичьи могилки и уголками платков вытирали слезы.

Потом опустело все: ласточки вымерзли.

Почему совершилось это страшное и непонятное самоубийство холодом миллионов ласточек? Потому, что их воздушный путь неожиданно перерезала огненная линия фронта.

Каждая ласточка совершает свой раз навсегда установленный путь. Ласточки центральной России летят на юг через Украину и Одессу и дальше — через море; ласточки западных губерний — через Германию, на Италию и потом — через море. И вот эти низко-летящие ласточки натолкнулись на непонятную, огнем взрывающуюся линию фронта и остановились в ужасе; и этот ужас оказался сильнее инстинкта . . .

У нас на фольварке жило около сотни ласточек. Мы им сыпали крупу, клали хлеб, творог . . . Господи, чего мы только не предлагали им! Они пробовали это клевать . . . и умирали ежедневно десятками. Им недоставало мошек и солнца. Ничто другое не могло их спасти.

Наконец наступил день уже полной зимы, когда у нас продолжала жить только одна-единственная ласточка. Мы открывали ее клювик, клали туда крошки хлеба и заставляли ее глотать. Я лазил по амбарам, по чердакам и искал сухих,

уснувших мух. Я приносил их, разогревал, даже размачивал их в теплой воде и пытался подбодрить одинокую умирающую ласточку. Я подносил эту размоченную муху к самому глазу ласточки, но она тоскливо смотрела и как будто бы уже ничего не понимала или не хотела больше жить.

К нам часто приходил в дом столетний Аким. Он с непонятной настойчивостью интересовался судьбой этой ласточки.

Акиму я давно растолковал, почему такое приключилось с нашими ласточками. Он все это отлично понял. И насчет девятидюймовых пушек, и орудий Канэ, и о пулеметах и минах.

Когда под Рождество он опять зашел к нам, я держал в руках последнюю, уже мертвую, ласточку.

Аким сурово сказал:

— Дай сюда... Погоди, всяк человек ответит за все, и за пушки, и за пулеметы... За все ответит человек, и вот за нее ответит, — грозно сказал старик, и в мутных глазах его была мудрость пророка.

2

СКВОРЦЫ

Дед Аким, моя мама, наш маленький фольварк, в котором я вырос, — все это уже совсем-совсем прошлое и оставшееся где-то далеко позади, только в моей памяти. И об этих ласточках, о которых я никогда не забывал, я все же отметил очень кратко: «Ласточки. Сентябрь-декабрь 1915 года. Фольварк». Больше мне не надо было писать ничего: все это передо мной ярко и отчетливо.

И вот в моем дневнике от 2 декабря 1942 г., двадцать семь лет спустя, я написал: «Скворцы». Я вам объясню в чем дело.

В этот холодом и пронизывающим ветром наполненный день 2 декабря 1942 года я стоял в легкой шинели летчика и дрожал крупной, изнутри идущей дрожью. И не потому, что было 40 градусов ниже нуля, не потому, что впереди и сзади, справа и слева скорбно охала промерзшая земля от взрывов

полутонных, сверху падающих бомб. Не потому, что тысячи орудий, подтягиваемых на позиции мощными тягачами, бросали через нас и в нас снаряды, и весь воздух был в движении от грохота.

Да, так вот. Это было в деревне Аксаново. Около деревни сохранился старый, красивый дом, чье-то бывшее имение, теперь называемое «Дом отдыха Красновидово». И все это было расположено в 12 верстах от Можайска.

Около этого Красновидова проходила линия фронта. Я имел к нему очень непосредственное отношение. Вот он, совсем недалеко, стоит и самолет, который так трудно поднять в воздух при сорока градусах ниже нуля. Мне надо идти туда, надо спешить к аэродрому и я не могу идти. Я стою потерянный, возвращенный на 27 лет назад, и вижу: на телеграфных проводах, на проволоке полевых телефонов сидят темные, нахохлившиеся скворцы.

Они совсем равнодушны и ничего уже не боятся. И я знаю почему. Я отчетливо вспоминаю осень 1915 года и ласточек в нашем фольварке.

Я не нуждаюсь в объяснениях, почему здесь остались скворцы. Я сам могу рассказать, как они натолкнулись на огненную узкую полосу фронта, перерезавшую их воздушный путь на юг...

На аэродроме уже ревут разогретые моторы. Мне надо спешить...

Потом я возвращаюсь в свой бункер, мне очень хочется есть, я прямо-таки мечтаю, что вот, дескать, приду и хвачу стакан рома. Я возбужден воздухом и ревом моторов. Может быть, подсознательно возбуждает меня и мысль о том, что я все-таки жив, и могу на какое-то время спрятаться в свой железобетонный мир; а завтра...

И тут я вспоминаю скворцов утренних. И ласточек тех, давних. И уже во мне стыдливо гаснет возбуждение, уже мне не надо, не к чему спешить в бункер, потому что передо мной всплывают мутные глаза уже давным-давно умершего Акима и звучат грозно сказанные слова:

— За все ответит человек...

Мне уже не нужен бункер. Я иду туда, куда я должен пойти. И вижу темные шеренги скворцов на проволоках и проводах. А когда подхожу ближе, даже совсем близко, я говорю

сам себе: «Вот как их стало мало»... Я не обманываю себя тем, что скворцы улетели. Нет. Я знаю все. И пугаюсь этого знания, и в глазах моих холод от бесчисленных темных пятен на белом снегу. Это лежат замерзшие скворцы, те, у которых застыла кровь и чье маленькое птичье сердечко остановил мороз.

Пристально, как на некие таинственные знаки, гляжу я на темные пятна по белому снегу. Что они обозначили? Чья судьба отмечена в этих письменах?

Мне захотелось кому-то и что-то крикнуть. Но я не крикнул, так как вдруг все мое внимание остановил один скворец. Он сидел на земле у совсем голого куста и бессильно пытался оторвать от почвы наглухо припаянный морозом сухой лист. Жалкими, ненужными и бесцельными усилиями этот скворец пытался поднять лист, веря в то, что под ним найдется живой червяк...



Бокалы еще не налиты. И мне немножко, совсем чуть-чуть, грустно, и потому я вытащил свои старые записки, и посмотрел в них, и остановился на ласточках и скворцах.

Судьба их была как-то связана с нашей странной жизнью. Потому я и рассказал не о людях, а о птицах, наших русских, хороших птицах, разделивших с нами русскую судьбу...

...А теперь:
— С Новым годом!

Франкфурт-Майн, 1950.

Воробушки

Три рассказа

Я познакомился с этим человеком случайно, в парке. Мы не сказали бы ни одного слова друг другу, если бы я не обратил внимания, что он всегда сидит на одной и той же скамье и что около него постоянно возятся воробьи.

Во всяком случае, я прежде всего заметил этих шумных и бойких задорных воробьев и только потом человека. Человек бросал крошки хлеба и с серьезной задумчивостью следил за птичьим скандалом.

Я сел рядом. Человек посмотрел на меня. Очень скоро я узнал, что он русский. А через несколько дней он мне серьезно сказал, что воробьи ... Да, он так и сказал, что к воробьям у него особое отношение, что с их жизнью таинственными нитями связана и его, человеческая, жизнь.

Я ухмыльнулся. Так как мы уже были коротко знакомы, то он вдруг с досадой взмахнул рукой и сердито проворчал:

— Да, связана ... А как и что, хотите послушать?

Я выслушал эти три рассказа. Потом записал. И без всякой улыбки предлагаю вниманию терпеливого читателя ...

1. КУСОЧЕК ХЛЕБА

Теперь это многим может показаться непонятным и странным, но было время, когда кусок хлеба на столе радовал глаз. И когда этот кусок был съеден, становилось как-то грустно и даже немножко тревожно: зачем я его съел с двумя стаканами кипятку? Почему не оставил немножко на вечер?

Или — вот: косым взглядом провожают небольшой кусочек, завернутый в бумагу, и отправляемый мною в карман. И говорят: «Опять?»

Короткое и пустое слово, но у меня вздрагивает сердце. И я краснею ...

Потом я приспособился и уже умудрялся все это проделывать так, чтобы никто не видел. И чтобы не было произнесено: «Опять?» И чтобы все было мирно и без разговоров.

С этим кусочком хлеба я шел вот в этот же самый парк. Он совсем невдалеке от нашего дома. Не больше пяти минут ходу.

Тогда в парке было пусто, а по ночам темно. Это теперь тут такое оживление и уже с вечера полыхает неоновым светом вывеска ресторана Одеон...

Громадные платаны и заросли кустов отгораживают парк от беспокойной улицы. Улица дребезжит трамваями и пугает вскриками автомобильных сирен. Совсем у кустов скамьи, и тут же, через дорожку, пруд. Из воды иногда тяжело выскакивает карп и неумело, боком, валится назад.

В конце аллеи всегда пусто. Потому я шел туда, к очень неудобной скамье. Как только я садился, на дорожке, невдалеке от меня, с удивительной торопливостью начинали собираться воробьи. Может быть, это моя фантазия, мое желание создать себе на чужой земле сказку, но я серьезно думал, что воробьи меня знают, ждут и догадываются, что я в чем-то виноват перед их воробьиным племенем.

Так это или нет, разве в этом дело?

Воробьи боком подскакивают, выгибают шайки, черными пятнышками глаз посматривают, словно подталкивают: «Ну, перестань... пришел, ведь... вот и мы здесь».

Я вынимал свой сверток. Что Плюшкин? Во мне было десять Плюшкиных, когда я крошил хлеб и понемножку бросал воробьям.

Суматоха поднималась страшная. Они устраивали скандал и, бывало, затевали безобразную драку из-за кусочка, который всем им, неизвестно почему, казался особенно вкусным. Они тянули его в разные стороны, бестолково взмахивали крылышками и поднимали пыль. Этим пользовался какой-то самый расторопный из них. Обманув всех, он неожиданно хватал корочку и скрывался в кустах. Остальные пытались его преследовать, но скоро возвращались назад.

Я расходовал свои запасы очень осторожно, потому что здесь еще не было самого нужного, кого я поджидал, и которому мне всегда хотелось подсунуть самый лучший кусочек. Нет, тот, ожидаемый воробей, не был каким-то особенным красавцем и умницей. Наоборот, он был несчастным инвалидом. На правой ножке у него не было пальчиков. Потому, опускаясь на песок, он неуклюже валился на бок и только после

этого с трудом утверждался на левой ножке. Правая была уродливо изувечена, выглядела обгоревшей спичкой, очень напоминающей крохотный деревянный костыль.

Этот воробушек был худеньким и вечно вывалянным в сажу. Я все это объяснял тем, что у него нет семьи, нет постоянного местожительства и что по бедности своей инвалидной ночует он в первых подвернувшихся развалинах.

И вот он появлялся, этот воробушек. Прихрамывая, опираясь на костылек, он приближался к шумной и веселой толпе своих соплеменников, опускался на брюшко и начинал собирать мельчайшие крошки, на которые никто не обращал внимания. На большее ему и нельзя было рассчитывать. Разве мог он спорить со здоровыми, подвижными и сильными воробьями, которые без стеснения тащили у него из под носу то, к чему он с таким трудом приближался.

Это было несправедливо и я начинал хитрить, бросая крошки так, чтобы они падали совсем близко к скамейке. Инвалид меня понимал. Те, шумливые и задиристые, побаивались моих ног. А этот, на костыльке, хром-хром, приближался так близко, что я сыпал крошки прямо на его спинку.

Сев, вытянув свою культяпку, инвалид клевал и, даже, поглядывал вокруг, явно издеваясь над своими трусливыми родственниками. Потом воробушек встряхивал крылышками, благодарно чирикал и улетал. Сыт, думал я, и следил за его полетом. Он направлялся к пруду и там пил воду. Потом возвращался, но уже так себе, чтобы посмотреть на оживленное суетливое общество или подремать у кустов.

— Вот и все! — говорил я, вытряхивая из бумажки остатки крошек. — До завтра...

Воробьи разлетались. У них, видимо, где-то еще были свои дела. Поэтому я не обижался и думал, что все, только что здесь происшедшее, закончилось хорошо и правильно...

2. ОДНАЖДЫ ЗИМОЙ

Вот, говорят, охотник... Жестокое занятие... Ну, а если в крови человека эта страсть, что тогда поделать? Это не мною выдумано, не моя прихоть. Это пришло ко мне издале-

ка. В Европе, может быть, меня и не поймут. У нас, в России, это обыденное, это прямо-таки как у другого музыка. Музыкой такому весь мир заслонен. Он живет дни, подгоняет эти дни, чтобы приблизиться к часу, когда услышит Бетховена или Грига.

Охотник подгоняет лето, чтобы скорей прийти зиме, когда ноги сами знают дорогу в древний лес. И уже не глаза, сердце прислушивается к шорохам, сердце смотрит вокруг.

У человека короткая жизнь. Но когда к природе идет человек, сливается с нею, не думает он об этом. Природа приняла его, признала его своим и отдала ему часть своей вечной жизни.

Я был охотником. У меня впереди было много дорог не исхоженных, много патронов не расстрелянных. Конца-краю не было видно ... как вдруг переместилось все, изменилось, пропали радостно знакомые лица старых сосен и ласковые лапы елей ... Потому что в солдатском маскировочном халате надо было идти против других, тех, которые были тоже в маскировочных халатах, но совсем не похожих на наши.

Война — дело обычное. Через убитого перескакивают и бегут дальше. На корчи раненого посмотрят и подумают о санитаре. И бегут дальше, и кричат что-то непонятное, и тоже падают.

У, как же это страшно, как же это плохо человеку с разорванным пулей телом остаться брошенным и тяжело думать, что еще многие пути-дороги так и останутся не пройденными.

Вот и в Смоленском лагере № 126 так тяжело было с этими мыслями. Об этом говорю сейчас не потому, что зло осталось или притаившаяся месть. То — уже прошлое ... Было ... Да... Но зачем уходили из жизни люди не от ран, а потому, что не было у них куска хлеба. Как же так? Весь мир живет, почему же для меня нет куска хлеба?

Напрасно было кричать об этом. И не кричали ... потому что никто не слышал, не хотел слышать. Молча умирали. И никто не хотел урвать от себя самую чутинку ... Ну, немецкие офицеры и солдаты ели вкусные, толстые куски хлеба. Что на этих кусках было масло, мясо, сыр, на это умирающие не смотрели. Они видели только хлеб.

Вот тогда-то я понял, что самая горшая доля быть прикованным у воды и не мочь дотянуться до этой воды.

Около барака как-то сама по себе выросла грязная куча снега. Она была давно исследована и больше уже никого не интересовала. А вот я, охотник, заинтересовался ею, увидев, что по утрам на эту кучу прилетают воробьи. Что-то ищут там, возятся... И эти воробьи, совсем крошечные птичинки, вдруг померещились мне кусками мяса... что-то ударило мне в голову и я зашатался. И, странное дело, мне почудился старый лес и мои дороги в лесу. Даже запах порохового дыма почувствовал я, и тяжесть зверя... А потом я открыл глаза и уже не хотел умирать.

Как и что — это дело охотничье. Об этом даже не хочется и рассказывать, но руки мои дрожали, когда я бессильными пальцами возился у воротника мундира... Я никогда так не волновался, как в этот сорокаградусный мороз... А потом я залез в спальный мешок, сделанный из плотно спресованной, гофрированной бумаги. Я ковырялся там, что-то плел, иногда совсем бессознательно, а, проснувшись, с удивлением видел себя живым.

Как и что — я об этом дал слово не говорить... Утром был синий воздух, и дым из трубы комендатуры тянулся к небу ровным столбом. Я все это хорошо рассмотрел. Потом прилетели воробьи и я поймал двух. Вначале я чуть-было их не выпустил, до того жутко отдавалось в моих холодных руках трепыханье воробьиных сердец.

Как зверь, залез я в свой бумажный спальный мешок. Кровь воробьиная была сладковатая и до того крепкая, что у меня закружилась голова...

Сколько я спал, не знаю, но когда проснулся, на рукаве шинели, обожженной многими кострами, заметил несколько маленьких светлых перышек. Именно такие перышки были на горлышке воробьев.

Потом было утро. Еще и еще. Было много утр... И все время прилетали воробьи. Я даже удивлялся, почему количество их не уменьшается...

И когда вдруг, однажды вечером, нам выдали по целой буханке хлеба и фельдфебель, смеясь, говорил: «Гут... гут... брот...», я залез в свой спальный мешок, обнял буханку, прижал ее к себе и заплакал. Почему? Потому что у меня был хлеб и еще потому, что я боялся: не придет утро. Но оно пришло, засияло синевой бодрого и холодного воздуха, отмети-

лось ровным столбом дыма. Дым мне напомнил многое. Я в крошки превратил ломоть и крошки высыпал на грязную кучу снега и смеялся трескающимися на морозе губами, глядя, как они прилетали, спокойно поблескивали черными капельками глаз и клевали мой хлеб...

3. ДОВЕРЧИВОСТЬ

Потом, через несколько дней после того, стали падать бомбы на Смоленск. По ночам. Лагерь № 126 был на восточной окраине, почти совсем в поле. Лагерь был оторван от города.

И так как начали уже выдавать хлеб и пшено, которое ели сырым, то люди по ночам выходили из бараков и смотрели на языки пожаров, на взрывающиеся звезды зенитных снарядов и строили догадки: оторвет ли от себя огненный хвост вон тот самолет, начавший гореть?

Все хотели, чтобы пламя оторвалось от бомбардировщика, чтобы бомбардировщик исчез в темноте ночи и перестал носиться обреченным метеором. Но так случалось редко. И потому скоро научились определять, что если пламя в хвосте, то есть еще надежда. Но чаще всего где-то, за несколько верст, горящий самолет пылающей головней, стремительно несся к земле. Земля глухо вздыхала...

С чего бы это, трудно сказать. Но вот уже третью ночь подряд засыпали бомбами лагерь военнопленных. Это было непонятно, потому что все, и командование армии Белова и выше, все знали, что здесь только лагерь военнопленных.

Разные слухи были...

И вот в ту третью ночь особенно густо падали бомбы. Уже горела южная часть лагеря. Уже неподвижными темными пятнами на снегу валялись убитые, те, которые только недавно стали получать хлеб и так хотели жить.

Вздрагивая, стонала земля ледяными вздохами. Деревянные стены бараков скрипели. Со скрежетом ломались стекла.

Я стоял, прижавшись к стене, и спиной чувствовал конвульсию бревен. Огненные стрелы прожекторов казались небесными дорогами, скрещивающимися на серебре высоко летящего

бомбардировщика. Разрывы зенитных снарядов были похожи на вспыхивающие и гаснущие светофоры.

И вдруг что-то очень легкое и неуверенное упало мне на плечо, скользнуло и, цепляясь, стало катиться на грудь. Я не понял, что это может быть. Я поднял голову. Надо мною был выступ крыши. Совсем невольно, чувствуя трепыханье и скребки по шинели, я подставил руки и в одну из них упала какая-то маленькая птичка. Она была живая и, сжав пальцы, я почувствовал старое, знакомое мне, тревожное биение маленького сердца. Нет, это было не биение. Это были толчки отчаяния, безысходности, ужаса.

Я засунул руку с птичкой запазуху и весь мир сразу как будто отодвинулся куда-то в сторону. Ничто меня не интересовало. Ни огненные дороги в небе, ни светофоры, брызгающие раскаленными кусками стали, ни пожары. Даже разрывы близко падающих бомб казались мягкими и очень далекими. Неужели потому, что в моей руке доверчиво успокоилась птичка?

Кто — она? Я этого не знал. Я начал шарить глазами под застрехой, пытаясь угадать, откуда она могла вывалиться, пораженная всем тем, что происходит вокруг. Но огненные дороги сгущали темноту ночи и я ничего не мог разглядеть.

И тут меня испугала мысль, что моя птичка умерла. Да. Так оно и есть. Рука уже не ощущала никакого движения. Толчки маленького сердца прекратились. Все кончилось. Осторожно, словно боясь потревожить чей-то последний покой, я вынул руку и вдруг — тоскливо зашевелилось в пальцах что-то теплое и беспомощно-нежное.

Я опять спрятал руку... и мне чудилось, что мимо меня прошла красивая жизнь...

Потом сразу погасли прожектора. Высветлилась ночь и я решил дать свободу птичке. Я вынул руку, поднялся на грязную кучу снега и пустил птичку под крышу. Но птичка ни за что не уцепилась, и беспомощно трепыхая крылышками, стала слепо скользить вниз.

Тогда я опять поймал ее и еще раз попробовал посадить. Но она вновь свалилась, и я не дал ей падать, сразу подхватил, полез в свой барак, к своему бумажному мешку.

Я не уснул. Нет. К тому же как-то очень быстро показался

синий рассвет. Я вышел из барака и разжал пальцы руки. На ладони сидел самый простой воробей.

— Ну же! — сказал я.

Он, видимо, не сразу понял мои слова и раздумывал. Он посидел немного, доверчиво повертел головкой в разные стороны, как бы что-то проверяя. Потом вспорхнул и полетел. Летел все прямо и прямо, пока не скрылся за развалинами, от которых тянуло горьким запахом недавнего пожарища...

Франкфурт-Майн, 1955.

Привычка

Ему уже стукнуло 55. Настоящего у него не было, а прошлое казалось каким-то не бывшим, выдуманным, очень не ясным, таким, как после кинотеатра: хочешь вспомнить картины и не можешь. Они расплываются, наползают одна на другую, и остаются только яркие пятна и светлосерые в темноте зала лучи, в которых ненужно и смешно суетятся пылинки.

От прошлого остались только привычки. И привычка к рождественской елке, которая должна стоять до Крещения.

Елочку надо покупать к Рождеству. Но его Рождество было на тринадцать дней позже европейского и продавцу он заказывал елочку к 5 января. Так повторилось несколько лет подряд и старый крестьянин уже знал, что к этому худому и странному русскому зимний праздник приходит позже. Однажды он сказал русскому:

— Вы мой старый клиент. Я уже знаю что ваше Рождество 7 января и поэтому всегда, пунктуально 5 января, я вам буду привозить свеженькую, уютную елочку...

Он так и сказал: «уютную елочку». Тот, которому было 55, обрадовался, поблагодарил и каждый год, точно в девять часов утра 5 января сам выходил на звонок.

Так продолжалось много лет, а в год, когда ему по-настоящему стукнуло 55, в девять часов не раздался звонок.

Прождав до половины десятого, он начал волноваться, посмотрел в окно, выкурил папиросу, подошел к копии шишкинского пейзажа и, насупив брови, стал изучать поваленную сосну. Сосна наполнила его тревогой, и чтобы избавиться от нее, он вернулся к окну и задумчиво постучал пальцами в стекло. Потом испугался: может быть звонок испортился? Эта мысль возникла сразу и он торопливо шагнул в коридор, посмотрел на блестящую чашечку и вопросительно щелкнул по ней ногтем. Чашечка охотно и по-домашнему отозвалась мелодичным звоном. После этого он спустился по лестнице и у выхода нажал кнопку. На втором этаже торопливо затрещал маленький молоточек.

Тот, которому исполнилось 55, вернулся к себе, присел к письменному столу и задумался. И почему-то начал рассуждать о том, что мысль и слух могут жить самостоятельной жизнью. Вот мысли его далеко, они заполняют последние страницы еще недописанной повести, внимательно наблюдают за приближением героя «Цены жизни» к портрету полковника на массивном письменном столе госпожи фон Венден. А слух в это время, независимо от его воли, с настороженностью потревоженного хищника в каждую секунду готов уловить ожидаемое.

Мысли закончили свое движение по страницам и поставили точку. И сразу образовалась какая-то пустота, провал, отдых. Этим воспользовался напряженно поджидающий слух, настойчиво ворвался в пустоту и заставил человека посмотреть на часы.

— Ого! Уже двенадцать, а елочки все нет...

Тогда человек вышел в коридор, накинул пальто и направился к тому цветочному магазину, около которого из года в год крестьянин правильными рядами расставлял свои рождественские елки.

Громадные стекла магазина встретили привычной, томно печальной улыбкой белой сирени и яркими пятнами альпийских фиалок.

Человек вошел в магазин, глотнул запах цветов и спросил о старике. Владелица магазина, очень напоминавшая сирень, скорбно вздохнула и с удивлением спросила:

— А господин... господин разве не знает, что старик умер осенью и елки к прошлому Рождеству привозил его сын?

Человек ахнул и растерянно оглянулся. Дама с участием спросила:

— Господин... господин родственник старику? Нет? Почему же господин так волнуется?

Человек все рассказал. Теперь он может остаться без елки только потому, что умер крестьянин. Это очень неприятно, сказал он... Елка... Да, ему прямо-таки необходима елка...

— Вы не можете посоветовать, где бы я мог достать елку? Завтра у меня сочельник...

Владелица магазина, так напоминающая томную сирень, заморгала длинными ресницами: они, видимо, помогали ей думать.

— Да, можно... от нашего Рождества осталось несколько маленьких елочек... Но они уже недостаточно свежие... Но если господину... очень нужна елка, он может выбрать наиболее сохранившуюся. Если ее не тревожить, она еще несколько дней постоит...

Человек, которому исполнилось 55, одиночествовал у стола и смотрел на маленькую елку. Склоняя голову то к одному, то к другому плечу, он подмигивал цветной улыбке шариков и удивлялся, как ловко бегают зеленые, красные и синие огненные точки.

Такова сила привычки, подумал человек, и печально покачал головой. Все привычка, больше ничего. Привычка к письменному столу, привычка к мысли, привычка вот к этой елочке... и, в сущности, вообще ничего нет, есть только... привычка к жизни...

Человеку стало грустно. Может быть потому, что ему уже 55, и седые волосы, и ночью иногда легкое сердцебиение... Может быть... А может быть потому, что все так просто укладывается в эту привычку жить... Да, сказал себе человек, привычка и больше ничего. Нет ни прошлого, ни настоящего, ни будущего. Есть только полное собрание привычек...

Человек придвинул стул к столу, на котором стояла елочка. Вблизи цветные шарики перестали улыбаться и своими застывше-яркими точками строго смотрели в глаза человеку, как бы напоминая, что дело не в них, они здесь случайные гости, они могут исчезнуть, а главное в темнозеленых иголках елочки.

Человек встал и несколько раз прошелся по комнате, вопросительно разглядывая елочку. Но елочка не торопилась отвечать, она была серьезна, предоставляя шарикам и блестящим цепям наблюдать за человеком и таинственно подмигивать ему искрами чужого света.

Человек подошел к буфету... Нет, буфета у него не было. Он подошел к широкому шкафу. Там, на одной из полок, хранилось вино.

Он вынул одну бутылку, внимательно и долго читал этикетку, как будто изучая древнюю запись. Потом поставил ее обратно и, приподнявшись на цыпочках, засунул руку глубоко в шкаф и вытащил крепчайшую, на вишневых косточках, настойку.

Медленно готовился он и сам над собой иронически посмеивался. Это тоже привычка... Все привычка... Только привычка...

— А раз так, — вдруг и очень весело произнес он, — пусть будет привычка. Не правда ли, елочка?

Елочка пристально слушала.

— Значит, ты не согласна? — спросил человек. — Все привычка, дорогая моя...

Человек вытащил пробку, придвинул бокал и сел за стол. Налив, он поднял бокал, сказал: «Да», и выпил. Потом еще и еще. И когда неожиданно и очень ярко мигнули шарики, человек еще налил и, пристально рассматривая зелень, сказал:

— Да, елочка.. только привычка. И ты здесь по привычке. Ничего ты не значишь сама по себе... Ты тоже привычка.

Человек выпил и задумался. Он закрыл глаза и в наступившей темноте поплыли странные картины. Он отчетливо почувствовал застывшую тишину в древнем полесском лесу. Громадные белые, снеговые шапки давили на ветви елей. По нетронутому снегу отпечаталась удивительно элегантная цепочка лисьих следов. Вон около той старой сосны... что это? Какие-то желтенькие прозрачные крылышки? Человек в не-

доумении склонил над ними голову. Ах, да, произнес он, это из шишек, которые потрошит там, наверху, ловкая белочка...

Человек открыл глаза и не сразу пришел в себя. Вначале он обрадовался искрам снега и только потом понял, что это значит...

Посмотрев на елочку, человек зябко шевельнул плечами и, не глядя, потянулся к бутылке. Незаметно для себя он задел рукавом ветку елочки и вдруг услышал шорох падения чего-то очень легкого и звенящего. Это его удивило и заставило притаиться. Потом он повернулся и увидел, что вся скатерть усыпана сухими зелеными иголками. Они были обыкновенные, очень знакомые и родные. И печальные. Человек еще раз, теперь нарочно, взял пальцами одну веточку, притянул к себе и потом отпустил. Сделав два-три мягких взмаха, веточка успокоилась и — вдруг — начали сыпаться и сыпаться иголочки. Их упало очень много...

Когда зеленый дождь прекратился, человек мизинцем, ласково и осторожно, сдвинул иголочки под елку и медленно опустил седую голову на белую скатерть...

Дед Тит

Человек, привыкший смотреть в даль, человек, которому нужно уловить среди густых ветвей старой сосны силуэт готовящейся к прыжку рыси, — смотрит слегка прищуренными глазами. Так сделал человек и сейчас, чтобы искрящаяся белизна снега не мешала зрачку вбирать малейшие движения деда Тита.

Шшших... шшших... шшших... сухо выписывают след лыжи деда Тита. А сам он маленький, хоть и за шестьдесят ему, и совсем седенький старичок. И ружье у него тоже вроде седое и окончательно древнее. «Дубельтовка» — так зовут здесь такое ружье, переделанное из кремневого, тяжелое.

Идет и идет себе дед, охотник-лыжник. Иногда остановится, посмотрит на след зверя и опять — шшших-шшших...

Вот уже красный круг февральского солнца поднялся над полесским лесом, и навстречу ему глубокий снег улыбается синевой.

Боком скользит солнце, к полудню белеет, жар свой отдает воздуху. Дед Тит расстегивает верхние пуговицы древнего полушубка. Уже не шшших-шшшихают лыжи. Двухаршинный снег начинает садиться, верхний слой как будто запотел, потерял синеву, обернулся свежим серебром.

Потом солнце что-то вспомнило, заторопилось к закату, немножко задержалось над лесом, еще раз оглядело все вокруг и нырнуло в сосны.

Серебро снега потемнело, сразу стало хрустящим, звонко ломким стеклом. Это образовался наст, ледяная корка на толще нежного, пушистого снега. По этому насту уже не идет, а легко бежит дед Тит на своих широких, лосиной подшитых лыжах. Он бежит по следу волка, по-волчьи, след в след бежит, ровно и незаметно отталкиваясь.

Дед Тит бежит, но не торопится. Просто, сами лыжи бегут, ну, и он с ними. А спешить ему некуда. Хоть и стар он, но у него времени вволю, к тому же он знает, что зверь скоро почует идущего за собой, заторопится, станет скачками уходить. А для зверя в феврале, в Полесье, это последнее дело: под тяжестью прыжков ломается наст и тонкое ледяное стекло режет лапы... Раз провалившись, зверь толчком выбрасывается из снега и опять ломает наст и опять ледяные стекла впиваются в тело.

А сзади позванивают лыжи. От этого звона надо уйти во что бы то ни стало... И когда волк уже совсем выбьется из сил и начнет кругом себя брызгать кровью, тогда дед Тит увидит лежащего на снегу волка и оскаленную пасть зверя, уже совсем обреченного и не могущего защищаться. Тогда дед Тит поправит за плечами дубельтовку, в правую руку возьмет свинчатку, плеть короткую, в ремень которой вшит свинцовый кулачок, и медленно приблизится к волку.

Зверь собирает последние силы для последнего прыжка. Но даже его горящие бешенством глаза не могут поймать короткий взлет руки деда Тита. Зверь, видимо, не успевает ощутить и боль, пронизавшую небольшую впадину чуть-чуть вы-

ше левого глаза. И спокойно застывает на снегу... и все казалось бы совсем обычным, если бы не темная, еще горячая кровь, вытекающая из ноздрей уже мертвого волка...

— С полем, Борисыч! Как дело-то было?

Кто это говорит? Ах, да, это дед Тит, он приехал в город на Припяти, продавал лис и белок, тряс выдрой шесть-четвертей или куницей-белодушкой перед большим и первым скупщиком пушнины, которую потом контрабандой переправляли в Польшу. Этого скупщика он когда-то ласково прозывал христопродавцем, а теперь товарищем заведующим.

— С полем, Борисыч, — это сказал дед Тит, зайдя в дом номер один по Покровской улице, внеся в тепло комнаты удивительный запах полесской смолы и ветра.

— С полем! — еще раз говорил дед Тит и крестился не на иконы, а чуть правее, к востоку.

А Борисыч смеется. Какое мое дело, отвечает Борисыч, самое пустяковое дело: зайцы, лисицы, редко-редко волк.

— А ты, дед, ты-то с чем в город пожаловал?

— С пушниной, хозяин, с пушниной... Продал уже. Зима нынче хорошая, и зверь (дед снова крестился чуть правее икон) слава Богу ходит ничего...

Так сидит и рассказывает дед Тит и вдруг торопится:

— Вот что, Борисыч, собирайсь... В неделю за Озаричи на берлоги пойдем... Ты уж готовьсь, я заеду за тобой с нашими... Ну, так живи помаленьку, я к дому тронусь...

Борисыч бросается к деду, — вот как это хорошо, говорит, а только... только мой Канис, нога еще не зажила...

— Ну, что же, — качает головой дед, — что же теперь делать будем? А знаешь, я своих возьму и кузьмичевых прихвачу... обойдемся...

И в неделю (воскресенье) пахнущий сосной и ветром дед Тит опять в доме номер один. Смотрит, как Борисыч возится у стола, пригоняя жакановские пули.

А Канис должен был остаться дома. Он и сам знал, что на трех лапах ему нечего делать в лесу и как будто бы мирился с этим.

А потом Борисыч, уже в своем коротком полушубке, подошел, положил руку на голову собаки и сказал:

— Кан, Кан ... Ты не можешь ехать с нами ... Ничего, Кан, поправляйсь, береги свою лапу. У нас впереди еще много охот, вот как много охот ...

Канис от тоски даже глаза закрыл. Борисыч еще раз погладил его и направился к выходу.

— Папа, смотри! — закричала маленькая Ирочка. — Скорей смотри сюда ...

И Борисыч и дед Тит оглянулись: Канис лежал, глаза его блестели, он протягивал правую переднюю, в лубках и забинтованную, лапу. Борисыч вернулся:

— Бедный ты мой Кан ...

И когда уже все выходили из комнаты, Борисыч опять оглянулся на Каниса: он продолжал держать приподнятой забинтованную лапу, как бы в чем-то оправдываясь.

Борисыч заволновался, ему захотелось остаться дома, не ехать на эту охоту. Он начал было рассказывать, что вот Канис остается и тоскует. Вот видите, говорил Борисыч, как он меня любит, а я его крошечным взял в дом, и каким знаменитым гончаком он вышел. Но люди не захотели понять Борисыча, кой-кто даже смеяться стал, что, надо думать, страшновато Борисычу. И тогда Борисыч сел в сани, и поехали.

Ехали далеко. Это туда, знаете, за Озаричи, в самую глубину Полесья. С отдыхом ехали. День ехали, заночевали на знакомом хуторе, и только к следующему вечеру попали на место. Вот как это было далеко, хотя кони у деда Тита были добрые и дорога зимняя накатана.

А когда возвращались к домам, на полпути встретили охотники медленно ковыляющего Каниса. Он плелся навстречу. Он жалко нес свою правую переднюю, в лубках, лапу. Он ее держал вперед и чуть-чуть вбок.

Охотники заметили его издали, в тот самый момент, когда он прилег отдохнуть на обочине дороги и стал облизывать бинт.

— Борисыч, смотри: это твой Канис ...

Борисыч сорвался с саней, кинулся к собаке. Канис быстро

поднялся, протянул свою раненую лапу и улыбнулся блестящими клыками.

— Бери сюда, — крикнул дед Тит. — Поехали...

...Сани тронулись. О чем-то своем запели полозья и скороговоркой залепетали бубенцы...

А потом в песню полозьев и бубенцов вмешался какой-то грубый, назойливый треск... Все громче и громче... За этим треском уже не стало слышно ни полозьев, ни бубенцов...

Это удивило того, кто сидел в санках рядом с дедом Титом и держал забинтованную лапу Каниса. Прислушавшись еще немного, он поднял голову, открыл глаза и... с удивлением увидел перед собой белую скатерть, осыпавшуюся елочку, зеленые сухие иголочки, собранные в кучку... Тяжело вздохнув, он хотел опять опустить голову к столу, но в этот момент в коридоре гнусным городским треском задребезжал электрический звонок, сразу и грубо зачеркнувший картины русского Полесья.

Франкфурт-Майн.

Беркут

Надо мной часто посмеивались и удивлялись, почему вот такой: попадет в чужой город и не стремится в музей или в театр, а спешит к старым местам, к причалам, на базары, где толкутся охотники иль рыболовы. Посмеялись и астраханцы, к которым я впервой, в 1924 году приехал. Посмеялись и сказали:

— Ну, раз вы такой, идите на Большие Исады... Там завтра народу будет полным-полно... Только около верблюдов с верблюжатами не задерживайтесь: верблюжиха не любит,

когда ее дите пристально рассматривают. Плюнуть на любопытного ей ничего не стоит...

Исады... На этом базаре — Европа и Азия. Полуголый казак и в ватном халате киргиз... Выбеленные солнцем волосы астраханца, потомка петровских стрельцов, и лисой отороченная шапка на голове степняка из Букеевской орды...

— Мусульманин! — орет казак. — Бери сто крючков! Смотри, мусульманин, крючки из старорежимных матрацных пружин сделаны... Огонь крючки! Смотри!..

У степняка, на сгибе левой руки, сидит сокол. Легкий калпачек прикрывает ему глаза.

— Ай-ай, хорошо, — расцветает улыбкой степняк. — Огонь хороши крючки. Давай за сокола двести. Смотри сам сокол! Всю степь перемахнешь, лучше сокол не будет...

А сверху такое горячее солнце, что вся кровь закипает. Тем более у степняка: ему так нужны громадные, бледной медью отливающие крючки.

Казак тоже взволнован. Взволнован соколом, ловчей птицей. Казак вот-вот готов выбросить двести крючков, позабыть, как много искусства, времени и труда вложил он в них. А тут еще и советчик подвернулся:

— Давай, казак, двести! Стоющая птица...

Казак с остервенением плюет в сторону посредника. Степняк, уже готовый было уступить, радостно трясет жидкой бороденкой:

— Ай-ай, хозяин... Хороший человек правду говорил: давай двести!

Казак бьет себя в грудь кулаком и кричит:

— Побойся Бога, мусульманин! Бери сто пятьдесят...

Казак уходит с птицей. Степняк садится на корточки. Не обращая внимания на снующий народ, он разглядывает крючки, губой пробует острие и радостно шепчет:

— Ай-ай, огонь хорошо сделал казак крючки...

*

Об этом виденном на Исадах я и рассказал астраханцу, старику-охотнику Ивану Васильевичу Удалову.

— Сокол? — хмыкнул старик. — Сокол ловко бьет птицу, звериную мелочь или, там, лису... Это верно... А вот по-

смотреть бы тебе беркута. Не в зоологическом саду. На свободе. В степи. Это — когда он размахнет свои крылья на полторы сажени. Или когда сожмет крылья и нырнет к земле. А на земле — волк. Вот тут увидеть бы тебе беркута: как пришит к земле волк, а на волке беркут, и беркут смотрит на тебя строгим глазом. А глаз горит и переливается...

— Иван Васильевич, — задохнулся я. — Что вы сказали? Да ведь это история, это соколиная охота Ивана Грозного да царя Алексея Михайловича... Как же, читал об этом. Представляю себе и бояр на конях и соколов на рукаве... Но это — прошлое... А сегодня... да сегодня кругом советская власть...

— Э, милый, — смеется охотник. — Конечно, советская власть. Да она поверху ходит... Это — да... А тут — народ... Я хоть и старый, а промышляю еще на каспийских култуках и в степи... Знаю кой-чего...

А во мне горит все.

— Вот посмотреть бы, — прошу, — соколиную охоту. Глазами своими увидеть, Иван Васильевич...

— Время твое, милый, молодое, — отвечает Иван Васильевич. — Соколиную охоту завсегда найдешь. Вот беркута, говорю, это уж я тебе устрою. Про берендеев ты знаешь?

— Берендеи? Сказки какие-то вспоминаются, Иван Васильевич... Берендеи? Кощеи? Нет, Иван Васильевич, не припоминаю...

— Да где тебе и знать... А это не сказка, это люди такие двигаются по Букеевской орде. Вот тут, рядом с Астраханью. По орде своей кочуют и овец с места на место гоняют. А за овцами ходит волк. Пропитанье ищет. И не в том убыток берендею, что волк овцу зарежет. Овцы у него несчитаные. А в том беда, что отару напугает волк. Овца же больно проста: с перепугу летит зря, не глядя. Ягнят давит, ноги себе вывертывает, на камнях расшибается. Вот с чего убыток. За это и не любит берендей волка. А против него у берендея первый защитник тайган-собака да конь... А страшнее всего для волка — беркут... Вот как поедешь в Букеевскую орду к киргизам, поспрошай, где травят волка беркутом. А пуще всего добивайся берендеев. Где они — нельзя сказать: сегодня там, завтра — эвона где. Но бывает, что подходят к низам Ахтубы... Ну, одним словом, доставлю тебя к берендеям...

*

И доставил... Уже после того, как соколов я видел. Уже после того, как со стариком-этнографом, отстраненным от дел Василием Тимофеевичем Кириаком много чашек калмыцкого чая выпил.

Василий Тимофеевич Кириак, сам чуть ли не киргиз, любил всякого, способного слушать о Тамерлане, о тысячелетиях, пронесшихся над степями и пустынями Востока. Вот тогда-то я узнал о берендеях, о том, что еще в ту пору, когда только что становилась Киевская Русь, берендеи в истории оставили след. И еще о том, что берендеи были великие мастера пограбить славянские земли...

— Само имя берендеи для уха уже архаизм, — говорил Василий Тимофеевич. — А все ж есть еще они, есть замешанные среди киргизских племен роды, что зовут себя берендеями и многое свято хранят от десятого века. И беркута тоже. И дудочку, от которой удесятеряется сила и храбрость...

Такое зная о берендеях, к берендеям я и попал с Иваном Васильевичем Удаловым, астраханским охотником. С берендеями день и два двигались мы прочь от низовьев Волги, в сторону Большого Тэнгиза, как зовут киргизы Аральское море.

Под вечер, на стоянке у безымянного лимана, вдруг раздалось гортанное: «И-хай!» На этот крик повернули гордые головы два беркута, звякнули цепочками, раскрыли клювы, скрипнув колесом арбы.

Подлетели конники, подняли беркутов на седло и помчались...

И вот низко над землей скользят птицы. Впереди них бежит громадная тень: солнце на закате.

«И-хай!»

Беркуты взмывают вверх... И кажется, что кони тоже летят, летят выше пыли, стелющейся по степи. А впереди темная катящаяся точка: волк. Беркуты почему-то уклоняются в сторону, вправо. Что такое? Ага! Беркуты ломают свой лет под прямым углом и уже бескрылыми метеорами перерезают дорогу хищнику...

Если нет возможности победить, надо спасаться. Спасаясь, нельзя останавливаться. Это в крови у хищника. И еще: хищ-

ник боится упасть. Упав — нельзя подняться... А тут... волк вдруг лег. Сам! На хитрость рассчитывает?

Вот-вот, еще мгновенье, и столкнутся волк и птица. Беркут кинул крылья вверх, бросил лапы вниз... и все спряталось в неизвестно как возникшей пыли...

Когда мы подскакали к месту, пыль улеглась. На мертвом волке сидел беркут. В глазах его еще плавали искры огня. А второй беркут описывал воздушные круги, ходил уверенно, как сильный часовой...

Уже в сумерках возвращались к лиману. На палках у седел дремали беркуты с обыкновенными темножелтыми глазами. А старик-берендей говорил, что силой когтей беркут крошит шейные позвонки волка и плечевым изгибом крыла ломает ему череп...

Мюнхен, 1955.

Канис

1

Дым паровоза цеплялся за старые сосны, повисал на ветвях и медленно таял.

— Петя, а дальше что?

— Дальше?.. Видишь, уже наше Полесье началось...

Я знал, что значит Полесье. Прежде всего, это моя родина, здесь близкие мне могилы... Здесь некогда случилось такое, о чем я не рассказываю и о чем вспоминаю очень часто...

Здесь Полесье. Полесье бедных и удивительно душевных полешуков-охотников, край «непуганых птиц». Здесь я вижу себя с ружьем. С гончей костромской породы, которую я тор-

жественно величаю Канисом. «Канис» — так значится в документальной родословной, в собачьем паспорте, имеющем большую круглую печать.

С Канисом я очень близок... И сейчас, въезжая в Полесье, я думаю о нем, об уже сильно постаревшем своем гончем, и представляю его себе таким, каким оставил его несколько лет назад. Я вижу, как он будет меня встречать, как бросится ко мне и улыбнется, показывая тяжелые, острые клыки...

— Знаешь Петя, — говорю я, — у меня есть Канис. Костромич. Гончий. Так он значится по родословным документам. Понимаешь: есть такие родословные. Хотя нет, ты не знаешь этого... Родословная... это — корень... Ты видел корень сосны? Вылезший на поверхность? Так вот, по этому корню (сосновый — он очень, очень длинен!) можно дойти до тоненького усика, который уходит куда-то в глубь земляных пластов и питает все дерево... Понимаешь, так и родословная: от сегодняшнего моего я идем к отцу, от отца — к деду, к прадеду... дальше что-то неясное, затерявшееся, пропавшее в сумерках прошлого... А у Каниса (я покажу тебе его родословную!) идем к Грому, потом к деду Хвату, еще дальше — к прадеду Шарапу... дальше и дальше, и вот уже и псарня двора Александра Первого... Вот это, Петя и есть родословная Каниса... и сам он с чистой кровью гончих собак романовских, царских охот...

Подожди, Петя... О чем это я? Да Канис... Это его кличка по документу. Эту кличку я признавал, но не любил. Когда мы собирались на охоту и Канис жадно зевал и носился по двору, предвкушая лесной азарт и треск выстрелов, волнующих мягкую тишину, тогда я нежно обращался к нему: «Кан, Кан, милый мой пес! Мы сейчас уйдем в сосновый, старый, казенный лес... и никто нам не нужен»...

А в лесу, если бы ты слышал, Петя, как в лесу звучит это имя: «Кан». Крикнешь так протяжно: Ка-а-а-н! И слушаешь, и ждешь ответ, и молчат старые сосны, молчат, не мешают, и катится и катится призывное: «А-а-а-н»...

2

Сквозь дым мелькнуло что-то близкое, родное... Когда и где я видел эти лесистые берега широкой реки? Что-то знако-

мое, но ускользающее из памяти опять стоит передо мною, тревожит воспоминаниями о чем-то ушедшем и пережитом.

Это встают дни моего детства с совсем голубым небом и с ласточкой, устроившей для своих птенцов гнездо в кухне.

— Петя, — говорю я, — Петя, родной мой! Вот въезжаем мы в наше прошлое, а... прошлого-то и нет...

Петя смотрит в мои глаза и пытается в них что-то прочитать.

— Я не знаю, Борисыч, как там насчет родословной... это должно быть, интересно, и мне кажется, что это и нужно... и в крестьянстве у нас тоже заглядывают куда-то к дедам еще за Александра Второго... а только, Борисыч, нету того прошлого...

— Нету, Петя, — соглашаюсь я.

— Нету, Борисыч... Сгорело все былое, сгорело там, по всем этим фронтам и южным, и сибирским, и архангельским, и тамбовским... Сгорело... и может быть напрасно вы, Борисыч, домой едете... Хоть и демобилизованный вы, все же ненужный вы тут и чужой теперь... Матери и брату вы свой... а так, вообще, новые люди сюда пришли, они на вас как смотреть будут? Все те старые, ну, скажем, дед Тит, а то Киренский с сынами... те, конечно, рады будут... Да сами они теперь ничто, так, щепки, отлетевшие прочь...

В сердце у меня слезы. Чтоб спрятать их, я говорю:

— Петя, а... Канис?

— Что ж Канис? Небось и он забыл вас, и он не захочет признать вас, Борисыч. Время, ведь, тоже ушло... вы вон какие куски отмахали в одиночку, без Каниса...

Я крепко переплел пальцы рук. Хрустнули косточки, и я почувствовал себя одиноким и обреченным... Вдруг что-то прилило к сердцу, теплое и успокаивающее. Откуда и почему пришло оно, не знаю, но я уже не мог молчать. И твердо сказал:

— Нет, Петя, не так...

3

Сад был прежний. И тропинка прежняя. Даже пустая теперь скворешня была на своем месте. Все старое и привычное.

Но почему так неуверенно шел я к дому? Почему сердце

тревожно стучало, как будто приближался я к чему-то таинственному и даже опасному?

Вот и груша, та самая, что у веранды. На ней вызревали большие, сочные плоды. Как они назывались, я не помню, но отлично знаю, что становились они к осени внутри красными и очень сладкими. Да, и еще одно: у нас была красивая, прямо-таки элегантная Фуфи шпиц. Так вот этот белый, живой и звонкий комок шерсти, эта Фуфи, в осенние дни ложилась у груши и дремала. Она настойчиво лежала на ветру, хотя у нее было такое хорошее место для спанья на широком диване.

«Шшшоп»... Это падала на землю тяжелая груша, и «шшшоп» был сигналом для дремавшей Фуфи: она вскакивала, подбегала и съедала красноватую, разбившуюся грушу. Потом опять уходила дремать. Но спать она уже больше не могла: ее уютная мордочка с темнокоричневым носиком и черными глазами была в сладком соку, и мухи кружились над ней и беспокоили.

Фуфи... это просто так, это мимолетное воспоминание. Она могла быть, могла и не быть. Фуфи была красивая, дорогая безделушка. Она могла украсить место, но занять кусочек сердца ей было не под силу... А вот Канис...

И я увидел его... Я даже не знаю, кто из нас раньше взглянул друг на друга: я ли на Каниса, или Кан на меня. Во всяком случае, я остановился и смотрел: это был он. И он смотрел на меня, очень внимательно и настороженно.

Я знаю, в чем дело. Канис, как и все немолодые гончие, плохо видит. И я знаю почему: они слишком напрягаются, всей силой «вкладываются» в гон зверя, и это напряжение, постепенно, ослабляет их зрение. Вот почему так настороженно смотрит Канис: для него мое лицо в плотном тумане, но его ноздри уже принесли ему сигналы прошлого. Он не видит мое лицо, но уловил мой запах, почувствовал мою атмосферу, и уже медленно двигается ко мне, слегка вытянув голову.

Я не выдерживаю:

— Кан! — кричу я. — Кан!

Я хочу еще что-то сказать и не могу. Тяжелый комок горя-

чего вертится в горле, он мне мешает дышать, он мне делает так больно, что я готов разрыдаться.

Я не плачу, о нет! Но я уже ничего не могу видеть, таким туманом покрыты мои глаза в тот миг, когда на мою грудь падает тяжесть твердых лап собаки.

Потом я сел на скамейку. Канис положил свою голову мне на колени. Он смотрит мне в лицо, молча спрашивает о долгих, ненужно прожитых годах. Его пасть сведена судорогой радости. Он ждет, я... молчу...

Я хотел было встать и пойти в дом. Но Канис еще плотнее прижал свою голову к моим коленям. Глаза его сказали: «Подожди»! Я понял этот приказ и подчинился ему охотно. Это почувствовал Канис и глаза его стали мутными.

— Не надо, Кан... не плачь...

Это была его минутная слабость. Чтобы спрятать ее, он закрыл глаза. Склонившись к его уху, я очень тихо сказал, что сегодня, сейчас не время, нет, а вот несколько позже... завтра, послезавтра я расскажу своему Кану все, что было со мной в эти годы... Я обо всем расскажу, когда мы уйдем в старый, сосновый, казенный лес и под голубым небом будем совсем-совсем одни...

Мюнхен, 1956.

Пеночка

Такое было место любимое, у деревни Бобры. Справа задумчивой стеной начинается древний лес, впереди громадный луг, чуть влево — кустарники. И над всем этим до блеска чистое сентябрьское небо, по которому медленно двигаются, бродят, лениво пасутся белые барашки облаков.

Все это нужное для меня, очень интересное. На это смотрю я, и живыми кажутся покрытые охрой или киноварью листья осенних деревьев, среди золота и крови которых кой-где мелькнет изумительной яркости нетронутая зелень. Запутавшись в этой мозаике, глаз ждет, а что же будет дальше, чем закончится это торжество природы.

Тишиной и покоем закончится, думаю. Почему же так красива природа перед сном, почему все такое яркое вокруг меня? Ведь скоро белым холодом оденется все и придет всему конец?

Понимаю, шепчу я, понимаю, почему расцветают леса своей последней, настоящей красотой. У них была своя жизнь, свои труды и заботы весной и летом. Теперь . . . и я затаиваюсь, умолкаю, слушаю. Что такое звуком чуть тронутой нежной струны шевельнуло воздух? Ах, вот она, совсем рядом со мной, малютка-птичка, пеночка присела на кустике. Самой себе что-то пропела. Потом кувыркнулась в воздухе, проглотила мошку и вернулась на тоненькую веточку. Веточка даже не вздрогнула. Потом блестящими глазками сверкнула туда-сюда, сорвалась и низко над землей заторопилась к следующим кустам.

Но я не ухожу. Я лесной житель и знаю многое, о чем и в книжках не прочитаешь. Я жду. Вот опять зазвенело что-то: прилетела другая пеночка. Посидела, и тем же самым струнным звоном что-то долго и взволнованно рассказывала. А потом заторопилась к кустам, вон туда. Я вынимаю компас и просто, так себе, смотрю: на юг держат пеночки.

В такие осенние дни я выхожу к полесской деревне Бобры и наблюдаю за пеночками, за малютками птичками. Я видел, как выстраиваются станицы готовящихся к отлету аистов и каждый раз поражался: они сами себе выбирают сильных и мудрых вожаков, около которых потом так уверенно сбиваются тысячи.

А вот пеночка — одиночка, великий индивидуалист, если пытаться объяснить все человеческими словами. В этой малютке, в этой пеночке собранный в комок инстинкт, концен-

трат уверенности только в себе. Пеночка не нуждается ни в чьей поддержке. Пришла осень, наступил срок, она сама, одиночкой, летит на юг. Сама для себя поет и сама отдыхает. От опушки к опушке, от кустов к кустам направляется она, настойчиво и уверенно двигаясь туда, к югу. По полету непотревоженной пеночки можно проверять компас...

Обо всем этом я рассказал гостившему у нас городскому человеку, профессору, который изумлял меня знанием тайн звездного неба. Этот человек был астрономом. Он много лет из Пулковской обсерватории наблюдал за движением миров.

— Ну, вы меня поразили, — сказал он. — Покажите мне пеночку...

Мы несколько раз ходили к деревне Бобры, и он сам видел все это.

— Да, знаете, — вздыхал профессор, — это как в сказке...

А потом ему пришло время уезжать.

— Сведите меня еще раз к Бобрам, — попросил он. — Хочу попрощаться с удивительными маленькими мудрецами...

И мы пошли. Все утро, почти весь день мы стояли у кустов. Пеночек не было. Ни одной. Над нами проносились табуны уток. Недавние белые барашки облаков выросли, покрылись серой шерстью, сбились в отары и отарами сновали по небу, как бы не зная, где дождем сойти на землю.

— Нету, — вздохнул профессор. — Пеночек нет... Где же ваши пеночки?

Я посмотрел на лес. Увидев листья, до предела налитые золотом и кровью, я понял все. И ответил:

— Сегодня вечером или ночью начнут падать листья... К такому дню пеночки заканчивают свой перелет...

— Хм... — недоверчиво усмехнулся астроном. — Я понимаю точность, закономерную точность движения светил, я знаю, в какую секунду какой минуты какого часа будет затмение луны... Но тут... пеночки...

На рассвете я бужу профессора. Тороплю:

— Пойдем к лесу... Попрощаемся с сентябрем... Ведь сегодня поезд унесет вас к вашим трубам с диковинным опти-

ческим оборудованием, к законам мироздания, которые вас никогда не обманывают...

Мы шли и говорили о том, что ночью было холодно: роса слезой висела на блеклой траве.

Еще не доходя до лесу, мы увидели на земле пестрый ковер листьев.

Ветра совсем не было, но отдельные листья, казалось, с болью отрывались от веток. Падали вниз они — медленно и обреченно.

— Мудрые пеночки... —тихо сказал человек привыкший следить за движением звезд...

Мюнхен, 1956.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Виктор СВЕН

БУНТ НА КОРАБЛЕ

•

Книги того же автора, вышедшие в других издательствах:

ДИКОЕ СОЛНЦЕ

ТОСКА

РУВИМ, СЫН ДАВИДОВ

ЦЕНА ЖИЗНИ